

В этой книге представлены поэты с разными судьбами и различными художественными взглядами. Что же их объединяет? Все они родились в середине прошлого столетия, перешагнули порог века нынешнего и каждый из них по-своему отразил в своих стихах сложное время перемен. Составитель книги и автор предисловия – зав. кафедрой новейшей русской литературы Литературного института им. Горького, профессор Владимир Павлович Смирнов.

Светлана Сырнева

ДЕВОЧКА ИЗ УРЖУМА

Я родилась в 1957 году, в деревне Русско-Тимкино Уржумского района Кировской области – на древней Вятской земле, откуда происходят и все мои предки.

Годы самого раннего детства прошли в ветхой и кособокой крестьянской избушке. Весной всю окрестность заливала талая вода, а зимой за стеной выли волки. Появление «лампочки Ильича» под закопченным потолком нашего дома совпало с полетом Гагарина в космос.

До четырех лет моим воспитанием занималась бабушка Евлампия Васильевна Сырнева, в прошлом учительница. Она научила меня читать. Бабушка очень любила поэзию Некрасова, и благодаря ей я знала наизусть многие стихи этого неповторимого поэта.

После смерти бабушки я и моя младшая сестра остались дома без присмотра, и мама, учительница русского языка и литературы София Александровна Сырнева, стала брать нас в школу, к себе на уроки. Так я познакомилась с русской классикой, и она в то время воспринималась мной не как литература, а как сама жизнь.

Стихи великих русских поэтов соединялись в моем воображении с картинами нашей деревенской природы, органично сливались с ней в одно целое. Поэтому природа и вся наша скудная жизнь казались мне одухотворенными, полными глубокого, порою драматического смысла.

Транспортное сообщение с райцентром Уржумом было плохое, и жители нашей деревни ходили туда пешком. Родители, отправляясь в город по делам, брали меня с собой. В дороге мы, импровизируя, сочиняли рассказы и сказки. Мама декламировала стихотворные строки своего брата Анатолия Сырнева, молодого поэта, погибшего в блокаде Ленинграда:

Луна свой серебряный бросила плед
Под след моих желтых ботинок.
Скачу через лужи – как будто балет
Танцую на сетке тропинок.
И лужи, и грязь говорят про свое,
А мне и тепло, и красиво –
Как будто бы в самое сердце мое
По трубам ввели Куросиво...

Рукописи дяди Толи потерялись во время блокады, и мама хранила его творчество в памяти. Вслед за ней отдельные стихотворения запомнила и я.

С семи лет я стала сама сочинять стихи, а с 1967 года они постоянно публиковались в местной газете «Кировская искра». Здесь их заметил ответственный секретарь газеты Евгений Замятин, единственный профессиональный поэт в районе. Он стал моим первым критиком и первым учителем в литературе. Наша дружба продолжалась до самой смерти Евгения Петровича в 1980 году.

Не перечислить всех, кто добрым словом и делом помог мне на литературном пути. Это были известные поэты и прозаики, именитые критики, поддержка которых для меня очень много значит. Однако с особенным душевным волнением я вспоминаю моих земляков, казалось бы, совсем обычных людей, чьи имена совсем не известны. Видя во мне искру способностей, ей не дали погаснуть простые люди.

Помню, как в третьем классе, пройдя все «отборочные туры», я была направлена на районный смотр художественной самодеятельности – читать свои стихи. Для этого выступления директор нашей маленькой школы Алексей Михайлович Староверов купил мне платье и туфли. Но в день поездки разыгралась сильнейшая снежная буря, все дороги замело. А до райцентра – 30 километров. И тогда директор школы запряг лошадь, закутал меня в тулуп и на санях повез в город, в сумерках, по снежной целине, по оврагам, где рыскали волки.

В годы юности я занималась в литературном объединении при Кировской областной писательской организации. Тогда мои литературные опыты считались не особенно удачными: они выбивались из привычных рамок молодежной поэзии 70-х годов. И порой мне казалось, что все мои труды напрасны.

В начале 80-х годов я работала в уржумской районной газете, обитала в коммуналке. В одной из соседних комнат жил очень немолодой и совсем слепой человек, в прошлом сотрудник органов госбезопасности. Иногда жена выносила его кресло в коридор, и он молча сидел, слушая шаги и голоса соседей. «Здравствуйте, Дмитрий Филимонович», – обычно говорила я, проходя мимо. Однажды он остановил меня. «Вы Светлана Сырнева? Та самая девочка, которая писала стихи и читала их со сцены? Вы их пишете и сейчас?». «Нет», – соврала я: мне было стыдно признаться в своих неудачах. «Жаль, – тихо сказал Дмитрий Филимонович. – Мы так надеялись, что у нас в Уржуме растет свой настоящий поэт, который, может быть, станет известен на всю Россию».

Меня глубоко поразили эти слова. Я думала, что до моего стихотворчества никому нет дела, что поэзия – личное занятие. Оказывается, если ты вступил на этот путь, то уже связал себя с какими-то ожиданиями общества. А эти ожидания могут быть куда более значительными и широкими, чем твой личный успех и твоя собственная судьба.

Я не принадлежу к числу поэтов, которые много пишут, часто издаются и стремятся к широкой известности. На мой взгляд, литература дышит свободнее, если качественный отбор проникающих в нее произведений производят сами авторы – не дожидаясь, когда это за них сделает время. У меня не так уж много читателей, но они, как правило, умные, глубоко чувствующие люди.

ЦИКОРИЙ

Уже появляется в летнем узоре
цветок неудобиц, канав придорожных –
цветок узловатый и горький – цикорий,
цветущий, как небо в решетках острожных.

Ни с ветром не споря, ни с ливнем не споря,

таится под мягким листом земляника.
Но поверх полян голубеет цикорий,
когда пред грозой природа поникла.

Холодные версты, дождливые зори.
Сорвешься с обрыва на глинистом склоне -
и тонкую руку протянет цикорий,
звездой голубою уткнувшись в ладони.

Быть может, достоин он участи лучшей,
но русской земли это навек услада –
на стебле из проволоки колючей
расцветь лепестками небесного склада.

А вам бы в букет это синее море,
что душу задаром ласкает и нежит!
Но вцепится в землю упрямый цикорий
и жилистой плетью ладони обрежет.

1982

НОЧНОЙ ГРУЗОВИК

В ночной тишине грузовик прогрехочет
по улице мокрой, холодной и темной.
Куда он, зачем он – по грязи, по ночи
безлюдной – бессонный, безродный, бездомный?

Но светом своим он ударит по стеклам,
и в спальнях означатся окон квадраты,
пройдясь по коврам, по обоям поблеклым,
по душным от тел одеялам из ваты.

На миг ослепивший заборы, засовы,
убогий ларек, обложившийся тарой –
умчится за город в заботе суровой,
считая ухабы окраины старой.

Насквозь эту ночь в полюса разведите!
За «дворником», капли срезающим косо,
вцепился в баранку усталый водитель
с погасшей в зубах до утра папирсой.

О полюс, покою противоположный!
Твои мне сигналият надсадные фары.
С тобой я. Возьми и меня, еще можно –
с окраины спящей, с окраины старой.

1984

ПРОПИСИ

Д. П. И.

Помню, осень стоит неминуемая,
восемь лет мне, и за руку – мама:
«Наша Родина – самая лучшая
и богатая самая».

В пеших даях – деревья корявые,
дождь то в щеку, то в спину.
И в мои сапожки дырявые
заливается глина.

Образ детства навеки –
как мы входим в село на болоте.
Вот и церковь с разрушенным верхом,
вся в грачином помете.

Лавка низкая керосинная
на минуту укроет от ветра.
«Наша Родина самая сильная,
наша Родина – самая светлая».

Нас возьмет грузовик попутный,
по дороге ползущий юзом,
и опустится небо мутное
к нам в дощатый гремучий кузов.

И споет во все хилые ребра
октябрятский мой класс бритолобый:
«Наша Родина самая вольная,
наша Родина – самая добрая».

Из чего я росла-прозревала,
что сквозь сон розовело?
Скажут: обворовала
безрассудная вера!

Ты горька, как осина,
но превыше и лести, и срама –
моя Родина, самая сильная
и богатая самая.

1987

ПРОГУЛКИ С ДОЧЕРЬЮ

Поезд случайный навзрыд загудит
и, простучав, тишину установит.
И восстановится осени вид –
тот, что, как зубы от холода, ноет.

В грязной реке отразится, тверез,
весь беспорядок крутого угора:
ржавые трубы, обрубки берез,
полуразрушенный купол собора.

Многострадальной земли мерзлота!
Ты не годишься для праздных гуляний:
чуть прикоснулась душа – и снята
гипсовым слепком с твоих очертаний.

Запечатлеет, глупа и нежна,
трактор в трясине да избы убоги.
Что с нее взять, если позже она
ищет повсюду своих аналогий!

Разумом здрав ли, нормален ли тот,
кто этой скудости счастьем обязан?
Поздно гадать, ибо сей небосвод
серым узлом надо мною завязан.

«Мама, мне страшно, в канаве вода.
Мама, мне холодно, дрожь пробегает.
Мама, зачем мы приходим сюда?» –
Некуда больше идти, дорогая.

1987

ДЕРЕВЕНСКИЕ НАРЯДЫ

Пестрая юбка, цветастый платок
в обществе грубых, немодных сапог
нравятся, пусть и смешны, и нелепы.
Желтое с красным, лиловое с красным,
ваше соседство считаю прекрасным,
в ваших хозяйек влюбленная слепо.

Вот они, эти нескладные женщины,
провинциалочки и деревенщины.
Праздник – они и надели наряды,
факту наивной нарядности рады.

Рады тому, что сегодня не в ватнике
и не в извечном рабочем халатике –
в платье: лежало в комодке лет семь
и не надевано даже совсем.

Господи, пусть оно с модой не вяжется!
Долго лежало – и роскошью кажется.

В день, о котором я долго мечтала,
счастье дешевым платком расцветало.
В истинном счастье изящного мало:
лишь бы светилось, лишь бы сияло!

1987

* * *

В.П.С.

По дороге плетется машина,
перелесок раздет и разут.
А в машине – замерзшая глина:
и куда эти комья везут?

А на комьях сидит мужичонка –
видно, грузчик при этом добре.
Никудышная сбилась шапчонка...
Эй, простынешь, зима на дворе!

Он глаза бестолковые щурит,
папироску упрятав в кулак.
Для сугреву, наверное, курит,
но согреться не может никак.

Он доволен минутой покоя
и к тычкам притерпелся давно.
Как же с ним сотворилось такое,
что куда ни вези – все равно?

На безлюдной, глухой переправе
не удержит осклизлый помост,
и сомнет мужичка, и раздавит
опрокинутый под гору воз.

И душа его в рай вознесется
на златом херувимском крыле.
Может быть, ей хоть там поживется,
как пожить не пришлось на земле!

От тепла разомлевшая в мякоть,
все, что хочет, получит она:
ей позволится досыта плакать
и позволится пить допьяна.

Что ж, душа, ты так мало вкусила?
Что еще ты желала б вкусить?

Ты б чего-то еще попросила,
да не знаешь, чего попросить.

1988

ПЕСНЬ О СОХРАНИВШЕМ ЗНАМЯ

В.П.С.

А воронов стая кружилась все ниже,
и гибнущий полк его выслал из боя:
ему приказали укрыться и выжить,
доверили знамя спасти полковое.

Крестом осенился и знамя упрятал,
его обмотав под рубахой на теле,
и – по лугу, по лугу, прочь от заката
туда, где лишь кости в оврагах белели.

Дремучей тропею, стремниной холодной,
спаленною чащей, где дым еще вился,
то мышью, то зайцем, то тварью болотной
бежал он, и полз он, и катом катился.

В канавах и в норах он жил потаенно,
считать разучившийся дни и недели.
Над ним проносились чужие знамена,
чужие победы в округе гремели.

Оброс, одичал он, питался червями,
и речи живой, и рассудка лишился.
И он позабыл, для чего ему знамя,
но как над дитятей над ним копошился.

Однажды, придя ослепительным строем,
заветное войско его подхватило,
обмыло, одело, назвало героем –
но разума грешному не возвратило.

Навек отказавшийся быть человеком,
все так же он ползал и ел, что попало.
Бежал – не нашли. И в баталиях века
судьба его бедной песчинкой пропала.

О жизнь, для кого ты? По степи закатной
закованным всадником ты пролетаешь
и дышишь одной лишь суровостью ратной,
и, людям не внемля, лишь мифы питаешь.

1989

* * *

Ночь застанет в пути, и луна
проводить тебя будет знакомо.
Для чего так дорога длинна
от казенного места до дома?

Чтоб забылось, о чем ты просил,
чтоб наплакаться, идя с отказом,
и по капле накапливать сил,
так постыдно утеранных разом.

Чтоб хромые деревья в пыли
и немые деревни в печали,
прикасаясь, поведать могли,
что они – и просить перестали.

1989

ДЕКАБРЬ

Как ослепшего – за рукав
и как тонущего – на плот,
пусть затянет меня в декабрь,
пусть хоть это меня спасет.

Заметет с четырех сторон,
занавесит со всех высот.
Это – зыбка, а в зыбке – сон,
пусть хоть это меня спасет.

Не страшна небесная твердь:
ватой выложен небосвод.
Что поэту русскому – смерть!
Пусть хоть это меня спасет.

В свой тулуп меня заверни,
о декабрь, и неси, храня.
Так носили в детские дни
полусонную в сани меня.

И уже во сне досмотреть
нескончаемый санный путь...
Что для русского – умереть!
О, не более, чем заснуть.

Ибо жизнь ему – то тесна,
то неслыханно широка.
И ему потребны века
для его короткого сна.

1989

* * *

Затеряна в кругу светил
твоя заветная звезда
и неземным потоком сил
упорно движима всегда.

Никем не предугадан час,
когда взойдет она в зенит.
Тебя, быть может, только раз
она лучами осенит.

И будет дом, и снег в окне,
и печь затопится в дому,
покуда стрелки на стене
не принуждают ни к чему.

Как бы невидимой рукой
от сердца камень отвели –
стоит торжественный покой
столпом от неба до земли.

Живи в предчувствии чудес
и разбазаривай в гульбе
бесценный миг, когда с небес
бросают лестницу тебе!

Но в час, беспечно спишь когда,
созвездья свой продолжают ход,
и, дрогнув, сдвинется звезда,
и над тобой беда взойдет.

1990

* * *

Я прошу тебя, побудь со мной.
Эта ночь полна апрельской влаги,
и ни зги не видно за стеной,
где шумят и рушатся овраги.

Я налью холодного вина.
Я не виновата, что от роду
и моя душа темным-темна,
как долина в полночь ледохода.

Я уже не сделаюсь пьяней

и не о душе своей заплачу –
о тебе, которому по ней
пробираться надо наудачу.

Я давно уже узнала: да,
ты упрям, не любишь отступаться.
Для тебя и это не беда –
в ледяной купели искупаться.

Если так, то выпей и побудь,
посидим и помолчим немного.
У меня один остался путь –
неостановимая дорога.

И на то мне вещей голос дан,
чтоб тебе молчать со мной отныне,
как молчит несомый в океан
черный волк, оставшийся на льдине.

1990

* * *

Даже там, в темноте, через толщу земли
мы весну различать научились.
Наши деды детьми в катакомбы ушли,
внуки их в катакомбах родились.

И вовеки наш род не винил никого
и, надменный, не плакался, мучась.
Нас всегда было мало. Не только родство
нас связало, но общая участь.

И доля ежедневное бремя труда,
мы друг друга без слов понимали.
Сколько стоят огонь или хлеб и вода
в подземелье! Когда бы вы знали!

Ничего мы не создали. Не умереть –
это все, что смогли мы. Наука
нам давалась: беречь, и дыханием греть,
и спасать, и держаться друг друга.

О сестра! Нам доступны веселье и смех.
День настанет – и праздник удастся.
Но не пустим чужих. Мы закрыты для всех,
неделимая черная каста.

Мы сильны. Наши очи привыкли во мгле.
Но из недр выходя безоглядно,
мы совсем не умеем ступить по земле

и в смятенъе уходим обратно.

1990

* * *

По-над берегом, над половодьем
липы второпях зазеленели,
и широким маятником ходят
праздничные легкие качели.

Пляшет свадьба, но не слышу гула,
ни напева-посвиста, ни слова,
словно я когда-то утонула
и смотрю на все со дна речного.

Что ты, птичка, вьешься над волною?
Что жалеешь обо мне, ракита?
Ледяной стеклянною стеною
я от боли и тоски укрыта.

И никто не сможет, как бывало,
оттолкнуть меня или обидеть.
Не сама ли я порой мечтала
умереть, но из могилы – видеть!

Видеть – да. Но не качели эти
в их размахе вольном и счастливом,
и не то, как налетает ветер
в белый сад, парящий над обрывом.

1990

* * *

Кто обманом, злом, кто честным трудом
полагаем жить, отведя беду.
Но случится час – и сгорит твой дом,
и повалит смерч дерева в саду.

И своей судьбы ни один народ
не предрек еще, да и как предречь?
Мировых стихий самовластный ход
в недоступной нам вышине течет.

И когда к рассудку доверья нет,
у пучины губительной на краю
сердце ищет глупых земных примет –
и по ним читает судьбу свою.

1990

* * *

Поле безлюдное, полдень и зной,
тихие, чуткие шелесты ржи.
Чудится: в поле, где нет ни души,
кто-то присутствует рядом со мной.

Словно бы тонкий навес из стекла
в небе незримо откинут, и вот
объединился с землей небосвод
или протока меж ними прошла.

Наглухо замкнутый купол разъят.
Поле ржаное и лес на краю,
как бы познавшие ценность свою,
сильно и вольно в пространстве стоят.

Жизнь моя, наскоро ты прожита,
что ж ты молчала, что ты – благодать?
Где ты? Но купол замкнулся опять,
поле безлюдно и вечность пуста.

1990

* * *

В чистом поле – одна белынь,
и метет из последних сил.
Что ни выйду – шуршит полынь:
«Он забыл тебя, он забыл».

Прояснится. И в синей мгле
иней выпишет на стекле:
«Он забыл тебя, он забыл,
словно нет тебя на земле».

Вечный ковш взойдет, звездокрыл:
«Он забыл тебя, он забыл».

Шумный, дальний, надзвездный стан,
где смеются и жгут костры,
отнят ты, потому что дан
был легко и лишь до поры.

Что ж! Пирующим в небесах
дела нет до моей беды.
Но поставлено мной в сенцах
ледяное ведро воды.

И отрадно мне зачерпнуть
из него, проломивши лед,
и отпить. И в лицо плеснуть.
И припомнить, что все пройдет.

1990

СВАДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Им досталось местечко в углу фотографии.
Городские -то гости – те мигом настроились,
а они, простота, все топтались да ахали,
лишь в последний момент где-то сбоку пристроились.

Так и вышли навеки – во всей своей серости,
городским по плечо, что туземцы тунгусские.
И лицом-то, лицом получились как неруси.
Почему это так, уж они ли не русские!

Ведь живой ты на свете: работаешь, маешься,
а на фото – как пень заскорузлый осиновый.
Чай, за всю свою жизнь раза два и снимаешься –
лишь на свадьбах, и то: на своей да на сыновой.

Гости спали еще, и не выпито горькое,
но собрала мешки, потянулась на родину
впопыхах и в потемках по чуждому городу
вся родня жениха – мать и тетка Володины.

И молчали они всю дорогу, уставшие,
две родимых сестры, на двоих одно дитяtko
возрастившие и, как могли, воспитавшие:
не пропал в городах и женился, глядите-ко!

А они горожанам глаза не мозолили
и не станут мозолить, как нонече водится.
Лишь бы имечко внуку придумать позволили,
где уж нянчить! Об этом мечтать не приходится.

Может, в гости приедут? Живи, коль поглянется!
Пусть когда-то потом, ну понятно, не сразу ведь...
Хорошо хоть, что фото со свадьбы останется:
будут внуку колхозных-то бабок показывать!

Ну а дома бутылку они распечатали,
за Володюшку выпили, песня запелася:
«Во чужи-то меня, во чужи люди сватали,
во чужи люди сватали, я отвертелася».

1991

* * *

В тихом омуте я живу.
В тихом омуте – тишина.
Человек наклонит траву,
глянет в омут – не видно дна.

Молча сядет на бережок
в запылившихся сапогах
и не моет в воде сапог,
суеверный чувствуя страх.

Он родился и вырос здесь,
и лесной у него закон:
во чужую душу не лезь
и свою храни испокон.

Оттого между мной и им,
словно с неба упавший щит,
лист осиновый, недвижим,
всякий раз на воде лежит.

1991

* * *

Ночью, бывает, проснешься, поднимешься с нар,
с койки ль больничной – и смотришь зачем-то в окно.
Много ль осветит убогий дворовый фонарь?
Улицу, угол соседнего дома – а дальше темно.

От веку ты милосерден, казенный ночлег,
ставя фонарь под окном наподобье слуги.
Есть утешенье, покуда не спит человек:
улица, угол соседнего дома – а дальше ни зги.

Ведь человеку на что-нибудь нужно смотреть:
дерево, угол... А там – помогай ему Бог
сквозь вековечную темень, не глядя, узреть
белое поле, овраг и заснеженный бор.

Оцепенелая пустошь! Ты цельным, единым пластом
наглухо спишь, и тебя добудиться нельзя –
или же движешься с бурей в пространстве пустом,
третьего нет: либо спишь, либо движешься вся.

Двинулась вся. И проносится белой стеной,
ищет, где б снова забыться в покое своем,
и по дороге фонарь задувает ночной,

и застилает сугробом оконный проем.

1991

* * *

День за днем расстилает пурга
не казенную скатерть – снега.
В этом доме я только слуга,
в этом мире я только слуга.

Что под снегом равнина таит,
что там в поле? Не видно ни зги.
Черный куст под горою стоит
в вековечном молчанье слуги.

Не в ливрею оденьте слугу –
в холод, в стынь, в ледяную броню!
Все, что нынче в душе берегу,
я теперь на века сохраню.

Видишь, лира торчит из земли,
из-под снега – гусарский погон...
Мы не умерли, мы не ушли –
мы замерзли до лучших времен.

Мы оставлены здесь зимовать
и молчать из глубин ледников,
и друг друга во тьме узнавать
по нетленному звону оков.

1992

* * *

Там будут лес, и поле, и река,
но не зовите в эту благодать:
вам – радость, мне – страданье и тоска
бесплатную природу повидать.

Ведь я сюда являюсь, как в приют
на склоне жизни, на закате дня,
где мне назад ребенка отдают,
который жил и вырос без меня.

И сколько нужно горя перенести,
чтоб научиться счастье отвергать!
О жизнь моя, мы встретимся не здесь,
не при чужих, которым надо лгать.

Позволь докоротать пустые дни
безрадостной судьбы в чужом доме.
Мы встретимся. Мы будем там одни.
Не говори об этом никому.

1994

* * *

Утро да стебли сухого бурьяна.
Путь мой неблизкий! И это бывало.
В поле убогом, в разливе тумана
стая гусей не спросясь ночевала.

Кто вас приметит среди глинозема?
Не подавайте тревожного клика!
Что вы проснулись? Вы разве не дома?
Что встрепенулись в печали великой?

В сердце усталом давно не отвага.
Счастлив ты крылья иметь за спиною:
вздрагнешь от самого тихого шага –
перенесешь себя в место иное.

Ты уберегся среди перелета,
душу не продал для чьей-то наживы.
Что ж не спросил ты: а живы ль болота,
гнезда родные и заводи – живы?

Долго взлетали и долго кричали,
прежде чем в серое небо подняться.
Воздух тяжелый собой раскачали –
ходит и ходит, не может уняться.

Вышибло ветром далекие двери,
в небе открыло струю неземную –
и унесло оброненные перья,
чтоб не упали на землю родную.

1996

ПОЛЕ КУЛИКОВО

Светлой памяти Николая Старшинова

Сожалеть об утраченном поздно.
И куда за подмогой пойдешь?
На единственном поле колхозном,
как положено, вызрела рожь.

Еле слышен, развеян по воле
гул мотора – гляди и гадай:
может, это последнее поле,
может, это последний комбайн!

Весь в пыли, не растерян нисколько,
и откуда сыскался таков –
без обеда работает Колька,
без подмены трубит Куликов.

Ветер сушит усталые очи,
на семь верст по округе – сорняк.
К ночи Колька работу закончит.
Так задумал. И сделает так!

И, достав из кармана чекушку,
чтоб победу отметить слегка,
машинально пойдет на опушку,
на поляну родного леска.

Как отрадно зеленому лесу
охватить его влагою тут!
И грибы ему в ноги ползут,
ему ягоды в руки пойдут.

Солнца луч предзакатный и длинный
намекнет, где присесть не спеша.
Набери на закуску малины,
Колька, Колька, родная душа!

Передряги твои позабыты,
жив как есть, хоть и вовсе один.
Выше горечи, выше обиды
несмолкающий шелест вершин.
Спи под сводами древнего шума,
здесь не сможет никто помешать.
И не думай, вовеки не думай,
для чего надо жить и дышать.

1997

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Не отрекся от первой любви,
верен Родине был и присяге
и оставил записки свои
на казенной бумаге

Петр Гринев. Он как будто и жил
по чужой, не по собственной воле.

Старомодно свой век отслужил
в допотопном камзоле.

Он от жизни не взял ничего,
в стороне от событий старея.
Побежденный соперник его
оказался хитрее.

Этот знал, что пойдет далеко,
перестригшись однажды «под скобку»:
кто свободен – ступает легко
на запасную тропку.

Ведь для умного ложь – не обман,
а быть может, и благо порою.
Он пошел из романа в роман,
и – центральным героем.

Он с десятков имен износил
и в любые впадал превращения,
но повсюду свободу гласил,
нес плоды просвещения.

Побывал он в добре и во зле,
от безверия к вере метался,
помешался – и умер в петле,
но воскрес и остался.

И доживший до наших времен,
на своем и чужом пепелище
все скитается, роется он,
всюду истину ищет.

И за ней же – не ждут никого,
слишком долгая вышла отсрочка –
Петр Гринев и невеста его,
капитанская дочка.

1998

СЕЛО СОВЬЕ

Д.П.И.

Только лес за верстою верста,
над обрывом цепочка огней.
Край дремучий! Твоя красота
глубже общих понятий о ней.

Так живешь, словно дал ты зарок
от больших городов вдалеке,

что к тебе не протянут дорог,
без шеста не пройдут по реке.

И когда за богатством твоим
из далеких нацелятся стран,
заградись буреломом глухим,
напусти над низиной туман!

Ухни филином; леших буди –
пень-колоду под ноги кидать,
в ненасытную топь заведи,
обвали перепревшую гать!

То-то любо мне будет взглянуть,
как непрочный проломится лед,
как болотная мера и чудь
стаю стрел на пришельца пошлет.

Знамо, лучше вернуться ему
на избитые тропы земли –
а не ждать в налетевшем дыму,
чтоб от Совья ключи принесли.

Да спасется моя сторона
за разливом оврагов и рек!
Ведь родная природа дана
в оборону тебе, человек.

Ибо та подкатила черта,
где законов уже не пиши,
и заступится лишь простота
за величие русской души.

День весенний, и солнце в зенит,
и оттаяла снова земля.
И топор над селеньем звенит,
и возводятся стены кремля.

1998

НАСЛЕДСТВО

Где бы знатное выбрать родство –
то не нашего рода забота.
Нет наследства. И нет ничего,
кроме старого желтого фото.

Только глянешь – на сердце падет
безутешная тяжесть сиротства:
в наших лицах никто не найдет
даже самого малого сходства!

Эта древнего стойбища стать,
кочевая бесстрастность во взоре!..
В ваших лицах нельзя прочитать
ни волнения, ни счастья, ни горя.

О чужой, неразгаданный взгляд,
все с собою свое уносящий!
Так таежные звери глядят,
на мгновение выйдя из чащи.

И колхозы, и голод, и план –
все в себя утянули, впитали
эти черствые руки крестьян,
одинакие черные шали.

Что с того, что сама я не раз
в эти лица когда-то глядела,
за подолы цеплялась у вас,
на коленях беспечно сидела!

И как быстро вы в землю ушли,
не прося ни любви, ни награды!
Так с годами до сердца земли
утопают ненужные клады.

Что не жить, что не здравствовать мне
и чужие подхватывать трели!
Как младенец, умерший во сне,
ничего вы сказать не успели.

И отрезала вас немота
бессловесного, дальнего детства.
И живу я с пустого листа,
и свое сочиняю наследство.

2000

РУССКИЙ СЕКРЕТ

Достигало до самого дна,
растекалось волной по окраине –
там собака скулила одна
о недавно убитом хозяине.

Отгуляла поминки родня,
притупилась тоска неумная.
Что ж ты воешь-то день изо дня,
да уймешься ли, шавка бездомная!

Всю утробушку вынула в нить,

в бессловесную песню дремучую.
Может, всех убиенных обвить
ты решилась по этому случаю?

Сколько их по России таких –
не застонет, домой не попросится?
Знаю, молится кто-то за них,
но молитва – на небо уносится.

Вой, родная! Забейся в подвал,
в яму, в нору, в бурьяны погоста,
спрячься выть, чтоб никто не достал,
чтоб земля нарыдалась досыта!

Вдалеке по реке ледоход,
над полями – движение воздуха.
Сто дней плакать – и горе пройдет,
только плакать придется без роздыха.

Это наш, это русский секрет,
он не видится, не открывается.
И ему объяснения нет.
И цена его не называется.

2000

* * *

Прочь на равнину из душных стен –
где жизнь волну за волной катит,
где сверху донизу мир открыт,
и ветер в нем широко летит.

Летит, летит он, ничем не сжат,
и сразу видит весь белый свет:
на севере дальнем снега лежат,
на юге сирень набирает цвет.

Глубоко в пойму дубы ушли,
недвижна громада весенних сил.
И солнце светит для всей земли,
и белый сад над горой застыл.

Зачем нам небо, зачем трава,
мерцанье дальних ночных огней;
зачем и знать, что жизнь такова,
что разом все уместилось в ней?

И вот твой краткий век пролетел
в теснине, в склепе, в чужом доме,
и каждый видел себе предел,

тогда как предела нет ничему.

Не для того ли нам жизнь дана,
чтоб всякий раз, как весна придет,
понимать, что душа создана
по подобию иных широт!

И ветер летит, и куст шелестит,
и все живет по своим местам.
И смерти нет, и Господь простит
того, кто об этом дознался сам.

2000

* * *

Знойное небо да тишь в ивняке.
Ни ветерка безутешному горю!
И василек поплывет по реке
к дальнему морю, холодному морю.

Нет ничего у меня впереди
после нежданного выстрела в спину.
А василек все плывет. Погляди,
как он беспечно ушел на стремнину!

Плавно и мощно струится река,
к жизни и смерти моей равнодушна.
Только и есть, что судьбу василька
оберегает течение послушно.

Не остановишь движение вод,
вспять никогда оно не возвратится.
А василек все плывет и плывет,
неуправляемой силы частица.

Может, и нам суждено на века
знать, от бессилия изнемогая:
больно наотмашь ударит рука –
медленно вынесет к свету другая.

Правда, что холоден мир и жесток,
зябко в его бесприютном просторе.
Я не хотела, но мой василек
все-таки выплыл в открытое море.

2000

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК

Детство грубого помола,
камьши, туман и реки,
сад, а в нем родная школа –
вы остались в прошлом веке.

Счастье, вкус тоски сердечной,
платье легче водных лилий –
все исчезли вы навечно:
вы в прошедшем веке были.

Все, на чем душа держалась,
из чего лепила соты –
в прошлом веке все осталось
без присмотра и заботы.

Кто там сжалится над вами,
кто на вас не будет злиться,
кто придет и в Божьем храме
будет там за вас молиться?

Ты своей судьбой не правил,
не берег себя вовеки:
беззащитное оставил
за горою, в старом веке.

Вспомни, там мы рядом были,
значит, нас хулить, не славить.
На твоей простой могиле
ты велел креста не ставить.

Но сиял в мильон накала
новый век, алмазный лапоть.
Где тут плакать, я не знала.
Да и ты просил не плакать.

2001

ПОБЕГ ПОЭТА

Человек тридцати пяти лет,
проживавший похмельно и бедно,
потерялся в райцентре поэт –
просто сгинул бесследно.

А друзья его, сжав кулаки,
все шумели, доносы кропали –
дескать, парня убили враги,
а потом закопали.

Перерыты все свалки подряд,
перекопан пустырь у вокзала.

А жена собирала отряд
и в леса посылала.

Пить за здравие? За упокой?
Мужики не находят покоя:
эх, талантище был, да какой!
Он еще б написал, не такое!

На поэтов во все времена
не веревка, так пуля готова.
Зазевался – придушит жена,
как Николу Рубцова.

Может, снятся им вещие сны,
может, ангел встает у порога:
«Ты поэт? Убегай от жены!
Убегай, ради Бога!»

Так у нас глубоки небеса
и бездонные реки такие,
а вокруг все леса и леса –
вологодские, костромские.

И земля не закружится вспять,
и где надо лучи просочатся.
Можно долго бежать и бежать,
задыхаясь от счастья.

Посреди необъятной земли
вне известности и без печали
сбросить имя, чтоб век не нашли
и пожить еще дали!

Он бежал, никого не спросив,
мир о нем никогда не услышит.
Он исчез, и поэтому – жив,
и еще не такое напишет.

2001

ЗИМНЯЯ СВАДЬБА

Полночь. Деревня. Темно.
Стужа – вздохнуть нелегко!
Треснет в проулке бревно –
гул полетит далеко.

Роща навек замерла,
к небу вершины воздев.
Жучка – и та, как стрела,
с улицы мчится во хлев.

Где-то мерцает огонь,
резво скрипят ворота.
Там самовар и гармонь,
белая чья-то фата.

В эту морозную стынь
любо мне свадьбу кутить,
мимо бездвижных твердынь
лихо на тройке катить.

Стой ты, дворец ледяной,
мраморный замок любви!
Песней да пляской хмельной
брызнут паркетны твои.

Эх, погуляй, слобода,
но не кичися судьбой:
русского снега и льда
в рай не захватишь с собой!

Долго душе привыкать,
как на чужбине, в раю,
вечно грустить-вспоминать
зимнюю свадьбу свою.

Из невозвратных краев
немо смотреть с высоты
на белоснежный покров,
на ледяные цветы.

Некому будет спросить:
чем ты, душа, смущена?
И не успела остыть
вровень с бессмертьем она.

2001

ШИПОВНИК

Вдоль дороги пристанища нет,
по канавам наметился лед.
И краснеет осенний рассвет
за рекой, где шиповник растет.

Он растет, существует вдали,
неподвижен и сумрачно ал.
Берега им навскид поросли,
только ягод никто не собрал.

Здесь никто не ходил, не бродил,

не видать ни чужих, ни своих.
Ведь плоды не срывают с могил,
не берут их со стен крепостных.

Ржавый лист прошуршит у воды,
безнадёжно упавший к ногам.
Но краснеют на ветках плоды
по великим твоим берегам.

Мы, Россия, еще поживем!
Не сломали нас ветер и дождь.
В запустении грозном твоём
есть ничейная, тайная мощь.

То и славно, что здесь ни следа,
то и ладно, что здесь ни тропы.
Мы еще не ступали туда,
где стена, и плоды, и шипы.

2002

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАРСА

Над черной пропастью пруда,
над темным лесом и над степью
встает кровавая звезда
во всем своем великолепье.

Она царит, в сердца неся
и восхищенье, и усталость,
и перед ней природа вся
ушла во тьму и тихо сжалась.

И всякий маленький листок
молчал, и птица затаилась.
И каждый тихо изнемог,
еще не зная, что случилось.

Звезда! Ничтожны пред тобой
мои поля, мои дубравы,
когда ты луч бросаешь свой
для развлечения и забавы.

И подойдя, что ближе нет,
как злобный дух на голос выпи,
ты льешь на нас разящий свет,
который днем из нас же выпит.

И мы молчим из нашей тьмы,
подняв растерянные лица –
затем, что не умеем мы

противостать, оборониться.

Мы тихо сжались, чтоб пришли
разруха, войны и неволи
и обескровленной Земли
сухая судорога боли.

Я не ищущу судьбы иной
и не гонюсь за легкой славой:
не отразить мне свет ночной,
насквозь пропитанный отравой.

Но травы, птицы и цветы
меня о будущем просили.
И молча вышли я и ты
навстречу неизвестной силе.

2003

МАРИЙСКИЙ ПЕВЕЦ

И терпенью приходит конец.
Я тебе благодарна заране,
неизвестный марийский певец,
отказавшийся петь в ресторане.

Смотрит в окна осколок зари,
все охрипли от водки и лени.
Выйди вон и один покури
под кустом первобытной сирени!

Вымирает твой древний народ,
разлагается, тлеет и тает,
а сирень неизменно растет
и в положенный срок расцветает.

И все так же природа сильна
даже в малом, последнем остатке,
и тебя наделила она
статью воина в должном порядке.

Брат, ты вышел из этих дверей –
и почувствовал силу за дверью.
Обратися же в сойку скорей
по природе твоей, по поверью!

Ты летишь, и тебе нипочем,
ты крылом задеваешь за ветки
по лесам, где над каждым ручьем
жили вольные, смелые предки.

И гудела в кустах тетива,
недоступна для чуждого глаза.
Никого не сгубила молва,
никого не сгубила зараза.
Так мы жили без нефти и газа!

Ты лети, ты неси свою весть,
спой, как можешь, как сердце велело.
Ты летишь – тебе некуда сесть:
все обуглилось, все погорело.

И на твой бессознательный клик,
на беззвучный твой шелест крылатый
выйдет малый и выйдет старик
с допотопным дубьем и лопатой.

Вот стоит твоя нищая рать,
не выдавшая белого свету.
А другой не удастся собрать,
и надеяться надо на эту.

2003

ГИБЕЛЬ ТИТАНИКА

Л. Б-Г.

В зыбучую глубину, в бездонную хлябь
уводит сия стезя.
Не надо строить такой корабль
и плавать на нем нельзя!

Но вспомни, как сердце твое рвалось
и кровь играла смелей:
гигант свободы, стальной колосс,
он сходит со стапелей!

Творенье воли, венец ума,
невиданных сил оплот.
И дрогнет пред ним природа сама,
и время с ума сойдет.

В далекую даль, к свободной земле,
связавшись в один союз,
мы тоже шли на таком корабле –
грузин, казах, белорус.

В опасный час, на том рубеже
спастись бы хватило сил –
но кто-то черный тогда уже
по трюмам нас разделил.

Ты вспомни, как бились мы взаперти –
все те, кто был обречен,
кто вынужден был в пучину уйти,
предсмертный выбросив стон.

Заклятье шло из воды морской,
сдавившей дверной проем:
«Пусть будет проклят корабль такой!
Зачем мы плыли на нем?!»

Ты вспомни: выжил тот, кто не ныл,
забвения не искал,
кто переборки наспех рубил
и на воду их спускал.

Кто на обломках приплыл к земле
и там из последних сил
своих находил, согревал в тепле
и заново жить учил,

и кто вписал окрепшей рукой
в дневнике потайном:
«Надо строить корабль такой
и надо плавать на нем!»

2004

ПОБЕЖДЕННЫЙ

Не завывать ли нынче, как волк,
на глухое пламя луны?
Наш расформированный полк
молча возвратился с войны.

Из ничейной нивы овса,
охватившей ваш огород,
все еще звучат голоса
тех, кто никогда не придет.

Что ж твоя печаль тяжела?
Побежденный ты, но живой.
Радуйся, что пуля прошла
где-то над твоей головой!

Что же ты глядишь с немотой,
лишний на родной стороне?
Радости земной и простой
разучился ты на войне.

Здесь трава, как в детстве, густа,

и листва рососою полна.
Но живая вся красота
без победы нам не нужна.

Тихие разливы жнивья,
где легко прожить без утрат!
И сурово смотрит семья,
словно ты во всем виноват.

«Ты зачем покинул крыльцо,
дома ты не мог бы корпеть?!»
И родные плюнут в лицо,
но и это надо стерпеть.

2004

ЦВЕТЫ

В.Е. К.

Ты спишь в суе новостей городских
прижизненным сном суеты.
А здесь, в стороне от потоков людских,
цветут на газоне цветы.

Здесь осень сомкнула свои купола,
здесь жилы Вселенной легли,
и красная лава к ногам изошла
из самого сердца Земли.

Пылает газон негасимым огнем,
ничто ему ветер и дождь.
И вечная тайна содержится в нем,
которую ты не поймешь.

Как будто, сойдя с иноземных орбит
в единую точку тепла,
неведомый разум безмолвно скорбит
о жизни, что мимо прошла.

Отсюда ты в небо ночное взгляни,
как в черный, погибельный ров,
где светятся звезд бортовые огни
пред самым крушеньем миров.

И может, давно уже небо мертво,
и наша погибель близка,
а ты не успел, не успел ничего
за долгие эти века.

2004

КРИВАЯ БЕРЕЗКА

Л. Б-Г.

Это давнего, дивного детства весна,
где природа блестит, оживая.
И опять во все стороны света видна
в чистом поле березка кривая.

Пусть убога, мала, не на месте взошла
и над пашней шумит, не над лугом –
осторожно ее борона обошла,
не задело родимую плугом.

Кто ее уберег для себя и детей,
кто пахал этот клин худородный?
Фронтовик, навидавшийся всяких смертей,
иль подросток деревни голодной.

Это было в далекой советской стране,
это есть колыбель и обитель.
Вот он едет в село на железном коне –
работяга, отец, победитель.

Это жизнь, это в космос Гагарин ушел,
и туда же качели взовьются.
И ребенка спросонья сажают за стол,
где раздольные песни поются.

Это миф, это клад, потонувший в веках,
и подобного больше не будет.
Я спала – и носили меня на руках
богатырские русские люди.

Из огня, из беды вынимали на свет,
в руки добрые передавая.
И стремительной жизни глядела вослед,
удалялась березка кривая.

2004

МОСТ САМОУБИЙЦ

И я была молода.
Жила и не уставала.
В лихие мои года,
сгоревшая, восставала.

И память о том жива –

хрустальная вся, без фальши.
И, стало быть, не права
судьба, что случилась дальше.

И я на земле живу,
но жизни не ощущаю.
И снится, что наяву
сама себя защищаю.

Еще не пустились в рост
весенней земли подарки,
но вытял черный мост
над бездною в старом парке.

По образу своему
душа его сотворила.
Идет толпа по нему,
плюющая через перила.

И каждый верит в любовь,
в случайную чью-то милость.
А в бездне скопилась кровь,
пустая тара скопилась.

Кругом летела зола,
и ветер клубился, воя.
Я мост одна перешла,
а мы выходили двое.

На черной той полосе,
где я ничего не значу,
ты сам захотел, как все,
любви, добра и удачи.

И я проходила тут,
роняя слова скупые,
где первыми упадут
разумные и слепые.

2004

ОСЕННЯЯ ОБОРОНА

Сгинули ласточки и соловьи,
холодом веет от поздних восходов.
И на пустые дороги твои
яблоки падают из огородов.

Грозных рябин загорелись костры,
яростно светят из каждого сада.
Блещут лопаты, стучат топоры,

словно бы строится здесь баррикада.

Лег бы и ты в эту пору, уснул –
душу усталую больше не трогай –
но урожая торжественный гул
неумолимо висит над дорогой.

Что ж, разбирай подъездные пути,
люди угнетенный, но не покоренный!
Брюкву вытаскивай, тыкву кати
в общую цепь круговой обороны!

Полные бочки, тугие мешки,
вилы, сусеки, корзины, корыта –
все выворачивай! Все волокни!
Это – последняя наша защита.

Солнцем вспоенная, влагой земной,
тяжких трудов результат и награда,
крепко стоит за твоею спиной
полная жизни живая громада.

Наши леса не пропустят врага,
золотом блещут победно и ново.
И, упирая крутые рога,
в каждом дворе воцарилась королева.

2004

* * *

Это сон, это слишком опасная тишь,
значит, лед на стремнине расколется.
Это двинулась жизнь, и, покуда ты спишь,
подступает вода под околицу.

Твой поток беспощаден, твой рокот силен,
неумолчная ночь разрушения!
И таинственным гулом весь мир населен –
гулом гибели и воскрешения.

Ни единая в небе не светит звезда
над лесами, полями, бараками.
И спасенье идет, как приходит беда, -
оперенное теми же знаками.

Пусть над черною бездной белеет окно
и глядится в свое отражение,
но на части разъять никому не дано
своевольной свободы движение.

Это завтра наступит пора ремесла –
время тяглое, чистое, мутное.
И не вспомнит река, как она унесла
все мосты и заслоны минутные.

2005

ДОЖДЬ

Ближе движется эта завеса
и крадет горизонты, крадет.
Вот не видно окольного леса,
вот и тополь сейчас пропадет.

Как обманчиво все постоянство,
как зыбуче дождя вещество!
Занимай же пустое пространство –
по России так много его.

Это будет, наверное, в полдень.
Это там, где мы жить не смогли.
И мучительным гулом наполнен
весь объем от небес до земли.

Это там, где ни дома, ни сада,
где не вспыхнул огонь, не погас,
где растет дождевая громада,
навсегда заместившая нас.

2005

ВАГОН СУМАСШЕДШИХ

Дороги, вагоны, мосты, купола,
вокзалов промозглая сырость.
И жизнь настоящая вкратце прошла,
а вся остальная – приснилась.

Из тамбура в черное поле взгляни:
лишенные смысла и слова,
бегут, отстают постовые огни
оседлого счастья чужого.

Клокочет, свистит по путям бытия
бессонный вагон сумасшедших –
бездомных, железных, таких же, как я, -
последний рубеж перешедших.

Спешి настрадаться, натешиться властью,
катись в этой доле былинной,

где русская почва распалась, снялась
и мчится куда-то лавиной.

И лишь фотографий беззвучный напев
к живой возвращает печали,
и город случайный, навек замерев,
стоит за твоими плечами.

2005

ОБЩЕЕ СОЛНЦЕ

К нам из полярной синевы
приходит северное лето.
Клонилась в сторону Москвы
травы безмолвной эстафета.

И мне никто не запретит
под ветром встать на ровном месте:
он через сутки долетит
до ваших окон и предместий.

Быстрее доходят поезда,
быстрее промчится жизнь земная.
Но пусть никто и никогда
об этом даже не узнает.

И уповать уже смешно,
когда остаток жизни тает,
что солнце светит нам одно
и общий ветер пролетает.

Среди полей, стогов, сорок
не помышляю я о чуде
и жду, когда нас общий Бог
по справедливости рассудит –

как он не раз уже судил:
рукой неслышной, запредельной
по дальним далям разводил
и приучал к судьбе отдельной.

2005

ПОЭТ ФОМЕНКО

Свершилась поколений пересменка,
круги дождя распались на воде.
И часто снится мне поэт Фоменко,
который долго жил в Караганде.

Потом он в Шахматове пил жестоко,
сторожки темной обживал углы.
Он выходил во двор – и образ Блока
ему являлся из вечерней мглы.

И Блок смотрел с безмолвной укоризной
секунды три из пелены дождя,
и растворялся в небе над Отчизной,
в ее туман легко переходя.

Леса теряли желтое убранство,
клонились долу желтые цветы,
и было ливнем занято пространство,
в которое рискнул вернуться ты.

Срывай, поэт, листья бездомных лилий,
глуши вино в попутных поездах!
Нам негде жить: мы слишком долго жили
в Караганде и прочих городах.

Оглянешься на темное, пустое,
за что тебе полвека зачтено, -
и думаешь, что дальше жить не стоит.
Быть иль не быть! – теперь уж все равно.

Не тяжело в бесчувствии глубоком
доматывать уже недолгий срок.
Твоя судьба могла бы стать уроком,
но никому не нужен твой урок.

2005

* * *

Лето в разгаре, и странен союз
солнца и холода. Сердце щемит.
Вздрыгнет под ветром черемухи куст,
вытянет ветви и прошумит.

Клонится бледный березовый строй,
кроны трепещут, свиваются в жгут.
Шелест и шум по равнине пустой
ходят – и места себе не найдут.

Словно бы полем, поляной, рекой,
небом и космосом, всеми и вся
невосполнимо утрачен покой,
и ни на что опереться нельзя.

В час рокового смещения эпох

сущее общий находит язык:
шум несмолкающий, трепет и вздох,
долу клоненье и сдавленный крик.

1989

ФЕЛЬДШЕР

Ветер в пробоинах стен завывает,
парк вековой безнадежно печален.
Старенький фельдшер здесь часто бывает,
ссохшейся тенью стоит у развалин.

Каменных статуй понурые спины,
холод мансарды да яма колодца...
В дом этот черный, дворянский, пустынный
жизнь никогда, никогда не вернется!

В давние, былью поросшие годы
знатный хозяин бежал за границу.
В доме господском по воле народа
односельчане открыли больницу.

Вместе со всеми на стройке с рассвета
вкалывал дюжий глава сельсовета,
зычно орал со стропил всему свету:
«Лучшей больницы и в городе нету!»

Тут и прошла неумная юность,
тут и война колесом прокатилась.
Сколько здесь раненых к жизни вернулось –
да с того свету, считай, воротилось!

Помнят ли стены промозглые эти,
как здесь рождались веселые дети,
как на лошадке своей по ухабам
фельдшер являлся к беременным бабам!

Незачем долго работать в России –
кровью к земле прикипая, трудиться.
Нынче никто не содержит такие
в нищей деревне большие больницы.

Если болеешь – ступай себе в город,
катятся к городу автомобили.
А за околицей, у косогора
церковь покрасили, восстановили.

Тянутся к ней просветленные лица,
скованный дух обретает свободу.
Старенький фельдшер не ходит молиться:

он о себе не заботился сроду.

Разве душе, изгоревшей до края,
легче или тяжелее бы стало?
Грозные образы ада и рая
блекнут пред тем, что она испытала.

Вехи дорожные чести и долга,
детские призраки рая и ада...
Слишком уж долго живу я! Так долго
русскому жить человеку не надо.

2008

СВОБОДА

Лишь северный ветер промчался насквозь,
в порыве осенние рощи тревожа –
фальшивое золото с веток снялось
и вмиг настоящего стало дороже.

Так дорого все, что мгновеньем живет,
в день смерти своей воспаряет, блистая.
Завихривай, ветер! Пусть выше плывет,
пусть небо заденет червонная стая!

По всем закоулкам листва поднялась,
по всем деревням затопила округу,
широкой волною в пространство влилась,
его уплотнила и двинула к югу.

Гуляй же, пластайся по тверди земной,
по черным озерам ищи себе брода,
столпом золотым проходи надо мной –
я знаю: так выглядит только свобода.

Она не в богатстве, она не в борьбе,
законам и логике не поддается.
Она возникает сама по себе –
а значит, не каждому в жизни дается.

2008

ВОДОЕМ

Листва и крыши. Листопад -
и сон в избушке над рекою.
Так было много лет назад
и стало символом покоя.

Ты брови темные не хмурь,
кидаясь в память за спасеньем:
там было много грозных бурь
и отдых в холоде осеннем.

Там поле темное мертво,
и первый снег уже искрится.
И рада я, что ничего
из прошлого не повторится.

Я знаю, что прожить смогу
в какую хочешь непогоду.
И я стою на берегу,
подолгу вглядываясь в воду –

в осенний темный водоем
среди равнины безучастной,
где затихает дальний гром
любви и нежности напрасной.

2009

СЕЛЬСКИЙ АНГЕЛ

Церковь закрыта в двадцать восьмом,
школа – в две тысячи пятом.
Плавают пух сорняков над селом,
силясь приткнуться куда-то.

Женщина выйдет, бледна и худа,
встанет босыми ногами,
время счастливое вспомнит, когда
бомбой нейтронной пугали.

Сорок семей: погибать по одной –
самая худшая участь.
Лучше накрыло бы общей волной,
померли б вместе, не мучась.

Тихо отпрянет куда-то во мглу,
в темные, старые сени.
Тянется длинный асфальт по селу,
взрытый пучками растений.

Церковь стоит посредине села,
церковь пустая, сквозная.
Липа ветвями ее обняла,
купол собой заменяя.

Ясен и светел над ней небосвод,
солнца и влаги хватает.

Ангел, сказали мне, в липе живет
и по ночам вылетает.

Чудится: робкий, неслышный, простой,
смотрит всевидящим оком,
кружится долго над фермой пустой,
над обесточенным током.

Белые крылья сложив в вышине,
смотрит и шепчет, рыдая:
«Братья и сестры, идите ко мне,
в двери небесного рая!

Там, в лучезарной долине из роз,
я вас от горя укрою.
Надо – построю вам новый колхоз,
новую школу открою!»

Спит население, лишь от души
хор насекомых стрекочет.
Невыразимо они хороши,
краткие летние ночи!

И уставая бессильно сгорать,
падают звезды в осоку.
Полно, никто не хотел умирать
по отведенному сроку.

2010

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Светлана Сырнева*. Ночной грузовик. Стихи . Киров, «Вятское книжн. изд-во», 1989.
2. *Светлана Сырнева*. Сто стихотворений. Киров, б. и., 1994. .
3. *Светлана Сырнева*. Страна равнин. Стихи. Киров, «Промиздат», 1998.
4. *Светлана Сырнева*. Новые стихи. «Новые стихи», вып. 4. М., «Вече», 2006.
5. *Светлана Сырнева*. Избранные стихи (сост. В. П. Смирнов). М., «ИТРК», 2008.

ОБ АВТОРЕ

Юрий Николаевич Беличенко родился 28 апреля 1939 года в селе Млиев Черкасской области. Вырос на Кубани, в станице Крымская (ныне – город Крымск Краснодарского края).

Окончил Харьковский политехнический институт (1962), заочно – Литературный институт им. А.М. Горького в Москве (1971), экстерном – Донецкое высшее военно-политическое училище (1973).

С 1962 года – офицер Советской армии: сначала – ракетчик, потом – военный журналист. Более четверти века проработал в газете «Красная звезда», долгое время возглавлял в ней отдел литературы и искусства.

С 1993 года – спецкор газеты «Красная звезда».

Впервые опубликовался как поэт в 1962 году (газета «Калининградская правда»).

Автор поэтических сборников и литературоведческой книги «Лета Лермонтова». Печатался в журналах «Новый мир», «Наш современник». Как критик выступал в журнале «Знамя».

Лауреат Серебряной медали им. А.А. Фадеева (1990), Всероссийской литературной премии им. М.Ю. Лермонтова (2001).

Умер 8 декабря 2002 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

* * *

Я помню первый год от сотворенья мира.
Царапинами пуль помечена стена.
«Вороне где-то Бог послал кусочек сыру...» –
Учительница нам читает у окна.

Нам трудно постигать абстрактную науку.
И непривычен хлеб. И непонятен мир.
И Витька, мой сосед, приподнимает руку
и задает вопрос: «А что такое сыр?»

То было так давно, что сказка — современной,
сквозь годы протекло, растаяло в судьбе.
Но бабушка и внук однажды в день осенний
вошли со мной в трамвай, бегущий по Москве.

Бульварами идти им показалось сыро.
Ребеночек шалил. И бабушка, шутя,
«Вороне где-то Бог послал кусочек сыру...» –
прочла, чтобы развлечь игривое дитя.

Я опустил глаза. И память, будто внове,
пересекла крылом родительский порог...
А мальчик, перебив ее на полуслове,
Потребовал: «Скажи, а что такое Бог?»

* * *

По выходным, когда его просили,
хоть старым был и за день уставал,
колхозный кучер Ващенко Василий
военные иконы рисовал.

Еще казались вдовы молодыми,
Еще следили за дорогой мы.
Еще витала в сумеречном дыме
печаль вещей, покинутых людьми.

А дед Василий памятники строил.
Он выпивал, но дело разумел.
Он как художник ничего не стоил,
но ключик от бессмертия – имел.

По имени погибшего солдата
он брал сюжет. И посреди листа
изображал Николу с автоматом
и рядом с ним – гранатой — Христа.

Мы шли к нему. Нам странно это было.
Но вот стоишь — и глаз не отвести,
Увидев меч в деснице Гавриила
и орден Славы на его груди...

* * *

В июне мир припоминал отца.
Стояла сушь по всей степи великой.
Орех темнел, как туча, у крыльца,
и молодостью пахла земляника.

Не утоляя темного крыла,
степная птица в воздухе парила.
Она меня утешить не могла,
но про него с ветрами говорила.

Я вслушивался в этот разговор.
В неравновесье сумрака и света
мне чудилось, что заполняют двор
знакомые отцовские приметы.

слывет немодною обновой.
Мы песни слушаем не те
и выпадаем из оркестра,
где престарелой доброте
в метро не уступают места.
Но, слава Богу, скажешь ты,
что не стирают даже годы
печали женской красоты
и смертной прелести природы...

* * *

Нас ничему не выучило время.
И, кофием проветривая лбы,
политиков кочующее племя
отеческие мучает гробы.

Опять у них Россия виновата,
что всё темна, ленива и пошла,
а оттого – и брат восстал на брата,
и не туда история пошла.

Решения с подсказанным ответом
нам не новы. Но это всё – слова.
Судить – суди, но не забудь при этом:
она – была, и тем уже права.

Искажены, а где и стерты лица.
Резон не тот. И логика не та.
Но так от крови склеились страницы,
что не разнять, не разорвав листа.

И незачем нам сплетнями тиранить
те жизни, что остались между строк.
Прозревшим – честь.
А не прозревшим – память.
Прозревшим – боль.
А не прозревшим – Бог.

КУЗНЕЦ

Не то в кино, не то на памяти,
еще не стертой до конца:
как с наковальни — капли пламени
летят на руки кузнеца.

Лицо черно, и плечи молоды,
и, с глаз отмахивая пот,
он над вселенной машет молотом –
ключи для счастья кует.

Мелькает бурая окалина.
И все изделие в дыму.
А он глядит на фото Сталина
и улыбается ему.

И верит, что скользят за рамою
лучи ответного тепла.
И на уроках политграмоты
идея — в чувство перешла...

Чтоб с буржуазными прогнозами
в стране покончить на века,
куются Павлики Морозовы,
прорабы будущих зк.

Чтоб люди всей Земли поверили
в успехи вольного труда —
за кузнецами смотрят берии:
а то ударят не туда.

И рвутся в небо флаги рдяные,
индустриальные дымы.
И чьи-то кости безымянные
ласкают вьюги Колымы.

А он — не моет руки медные,
а он все угли ворошит:
Сама идея всепланетная
закалке жизнью подлежит.

И, разметая силы темные,
себя познавшая в огне,
встает за ним страна огромная.
С его мечом. В его броне.

...Сейчас при свете электроники
глядит в экран его родня.
Кузнец из старой кинохроники,
зачем ты мучаешь меня?

Как говорят, за все заплачено.
И век тебя не миновал,
что, пулей битый, тифом траченный,
не тех любил, не то сковал.

А мы — свое ковать пытаемся
и все по правде говорим.
То с вагой молота не справимся.
А то — от дыма угорим.

Зарплаты требуем, не почести.

Ничто не делаем зазря.
А то — завоем с одиночества
или напьемся втихаря.

А он — наращивает скорости.
А он кует себе, кует.
И знает все, что будет вскорости,
но наковальни не сдает.

И не унизясь до блудливого
или поспешного словца,
стирает сажу со счастливого
и вдохновенного лица...

СОСЕДКА

С озаренным улыбкою ликом
усмиряя на кухоньке газ,
пенсионному возрасту в пику,
пролетаете вы мимо нас.

По отзывчивой речи скучая,
излучая на нас доброту,
о достоинствах хлеба и чая
размышляете вы на лету.

И на том, что не стал современной
этот, вами построенный мир,
что вас вывел из русских селений
на круги коммунальных квартир.

Только вымах крыла неширокий
да литая медаль седины
от носимых под сердцем: эпохи,
пятилеток, детей и войны.

Только рученьки немолодые,
что, в мазуте, в пару и пыли,
от еще подростковой России
худобу да беду отвели...

На войне ваши братья убиты.
Отодвинулись дочь и страна.
Но в канву коммунального быта
вся минувшая жизнь вплетена.

Ваши ноги в пути не устали.
Ваш веселый огонь не погас.
Со стены Ворошилов и Сталин
как товарищи смотрят на вас.

И, витая над вашими щами,
над обыденной прорвой забот,
молодыми поводит плечами
боевой восемнадцатый год.

* * *

Дожди крупяного помола.
Распахнутой двери проем.
Станичный райком комсомола.
Четвертые сутки – прием.

В Москве — похоронные марши.
В депо паровозы гудут.
И матери скорбные наши
на траурный митинг идут.

В халатах из крашеной бязи,
надвинув платки до бровей —
по нашей породистой грязи
чистейших кубанских кровей.

И, кажется, тучи и горы,
и ставшая тихой река
идут к пьедесталу, который
так скоро обрушит кирка...

Прошло паровозов гуденье.
Под шинами — щебень лежит.
Но то, что приходит с рожденья,
ревизии не подлежит.

Еда наша дымом горчила.
Была нам вода солона.
Нас добрыми быть научила,
пройдя через детство, война.

А то — началась наша юность.
И мы позабыть не вольны,
как больно в груди шевельнулось
огромное сердце страны.

Как дождь крупяного помола
латает оконный проем.
Как страстный райком комсомола
ведет перекрестный прием.

И круто нисходит с портрета,
и круто идет по сердцам
железная логика эта,
ломавшая жизни отцам.

Потом нам билеты вручают.
И, словно бы глядя в прицел, —
Суровы. Не трогаем чая.
И сахар райкомовский — цел...

ВАРНАВИНСКИЙ ЛЕС

За дамбой молодой — рыбацкие пиры.
Как в глечике парном — вода в конце апреля.
Там берест и ольха с оческами коры
напоминают флот, посаженный на мели.

Там строгий рыбнадзор карает и корит
лукавых рыбаков, ловителей тарани.
И старый хутор смыт. И волнами накрыт
кривой казачий путь, ведущий от Тамани.

Деревьям не понять, когда они в реке:
не то они — плоты, не то они — растенья.
Как трудно говорить на рыбьем языке
кто птичьим языком владеет от рожденья.

Как грустно услышать в предутреннюю рань,
что, покидая нас, изогнутой долиной
казацкие возы уходят на Тамань
по хляби грунтовой, сквозь табор тополиный...

Когда канву времен кислотами разъест,
когда отцовских стен не встретит глаз
сыновний,
быть может, мы поймем, что перемена мест
опасней и больней переливанья крови.

Что только эта кровь, да памяти запас,
да запертый в словарь живой терновник речи
пока еще мостом соединяют в нас
сыновнюю игру и прадедову сечу.

ТАМАНЬ

Отложи карандаш и сознание свое не тумань!
Жизнь и так не длинна. И покуда она еще длится —
различаешь? — опять: где-то около сердца Тамань,
как тяжелая рыба в придонной крови шевелится.

А придонная кровь — это вовсе не квас и не чай,
у нее накопилась привычка к серьезным нагрузкам.
Значит, снова пора археологу крикнуть: «Встречай!»
и поехать к нему, просочась через горлышко узко.

Он имеет привычку портвейном споласкивать рот,
говорить торопливо и жить в побережных кошарах.
Он потащит в раскоп, где он роет столетья, как крот,
и покажет следы миновавших людей и пожаров.

Он, наверно, один из оставшихся в жизни друзей,
чья свобода легка, а рука и судьба непродажны.
Да, я знаю, что здесь напрягал паруса Одиссей –
но пускай говорит: мне его останавливать страшно.

А потом мы лежим с запрокинутым в небо лицом
среди хора сверчков и мерцающих крапинок света,
различая вопрос, задаваемый людям Творцом,
на который мы оба пока что не знаем ответа.

Приминая полынь, погрузившую корни в века.
Отыскав звездолет на светлеющем небе лиловом.
Хорошо понимая, что здешняя жизнь коротка,
но она, говорят, иногда продлевается словом.

Раздвигается день. Расплетается наш полусон.
Кочетовые глотки к утру пробуждают станицы.
Мы всего только пыль на летучей закладке времен,
Но закладка сия — пролегла через наши страницы!

А на север — Мстислав на касога уводит полки.
И куда-то на юг проплывают суда из Ростова.
И степной паучок заплетает слюной черепки,
погребенные здесь за века до Рожденья Христова.

И на свежих могилах кузнечики звезды куют.
И советские звезды на красных холстах выгорают.
И колючие травы казачеству славу поют.
И залетные ветры в проливе рубашки стирают...

* * *

...Эта бычья дорога в осоке жила.
И вослед побежала за мною разлука
мимо каменных баб у излуки села,
мимо дамб с булавами цветущего лука.

И пока я свои отражения нес
по копытам, по лужам, промятым машиной, –
сквозь плавучее облако хутор пророс,
опирался о время горошек мышиный.

Мой случайный попутчик, мужик деловой,
был сердит, что в колхозе подводы не дали.
Над разлукой моей, над его головой

высоко над землей космонавты летали.

Как они меня помнили, руки твои!
Я молчал. А попугчик, шагающий справа, —
говорил. И прекрасное тело змеи
ускользало с дороги в бесшумные травы.

Шли мы долго. Приникшая к дамбе вода
пахла нефтью и яблочной гнильностью ила.
Но уже закипала вдали темнота,
словно время нам бездны свои отворило.

Я молчал. А попугчик замыслил побег.
Он со мной попрощался и канул в тумане —
через дамбу, куда-нибудь в каменный век,
рядом с каменной бабой стоять на кургане.

Нам нельзя уклоняться от гроз и разлук —
нам покой не предписан уставом военным.
Приближается тьма. Обостряется слух.
Стала колкою кровь, ускоряясь по венам.

Собирая слюну на тугом языке,
Притаилась лягушка, на звезды глаза.
И скитался по луже на гнупом сучке
муравей, повторяющий путь Одиссея.

И паук оснащал паутиной сапог.
И не мог я присесть на валун придорожный —
подо мною дышал теплотою творожной
возомнивший себя человечеством мох...

* * *

Сыну Дмитрию

Кузнец сказал: «Дожди в горах, —
видать, вода прибудет в реках...»
А я читал про древних греков
и жил в предгорных хуторах.

Полян непаханых волна
то чабрецом, то морем пахла,
и был похожим на Геракла
кузнец, пока не пил вина.

Я был в том возрасте, когда
в любом предмете и явленье
таится повод к размышленью
и ждет ответа и суда.

Когда, как шорохи из тьмы,
вопросы вспугивают душу,
И я спросил его: «Послушай,
коваль, а кто такие мы?»

Откуда ум приходит к нам?
Что он: железо или молот?»
Старик молчал. А я был молод.
И в горне сорный уголь гас.

Уже по склону тяжело
стучали грозные копыта –
оттуда, где была Колхида,
звучали тронки, стадо шло.

Старик сказал: «Дожди в горах.
Поля размочит у соседей.
Не время этаким беседе.
Работы много — спать пора...»

И я подумал: «Как он сдал!
Как много в нем житейской прозы!
И воздух чист — какие грозы?»

А грозы — шли за перевал...

САДОВОД

Я из города вышел, покинул дом
поутру, когда рассвело.
Мне мерещилось море за тем холмом,
а было за ним – село.

Я скатился по гладкой, словно голыш,
уличной крутизне
и увидел, как небо стекало с крыш
и терялось в каждом окне.

А на склонах люди белили сады.
А из камня струился мак.
Я калитку открыл. Попросил воды.
И с плеч опустил рюкзак.

Я и дальше бы шел по горбу земли,
я бы ветром в морях оброс,
но хотелось понять, почему вросли
эти люди в земной откос.

Что держало их за свой виноград?
Слишком жаден был интерес.
И, раскрыв наугад эту книгу гряд,

я в нее с середины влез.

Мне открылись корней слепые леса,
разогнувшие темный свод,
перегнутой, из которого пьет лоза
алхимический жар кислот.

Мне открылся в горячей земной пыли
нескончаемый мир живой,
где народы микробов войну вели,
что казалась им мировой.

Мне пока еще снился бег корабля
и крутая, как соль, вода.
Но меня по утрам будила земля
и ждала от меня труда.

Чтобы тяжкий плод, подобно звезде,
притяженьем земли влеком,
мог разъять свое тело в ее пласте
и взойти из нее ростком.

И туда, где проложены трассы птиц,
донести свои семена...
В этой книге было много страниц,
ну а жизнь у меня – одна.

... Я молчал. И спросил меня садовод,
даровой табачок куря:
– Ну а ты-то добрался до синих вод?
В сухопутных остался?
Зря!

* * *

Линяли дюны на ветру.
Текли года. И сосны пели.
И выходили поутру
на древний промысел артели.

И, отрываясь от земли,
нестройно и неторопливо
стада холщовые брели
по зыбкой пахоте залива.
То жизни древняя игла
своею жаркой, жадной силой
суровой дратвой ремесла
с морями их соединила.

То ветром полные века
и потом политые дали

простому жесту рыбака
его достоинство внушали.

Сегодня крепче невода.
Мотор надежнее, чем весла.
Но пресной кажется вода –
ветшают древние ремесла.

И в ночь, когда по берегам
текут пески и море злится,
не спится старым рыбакам
и возле дома не сидится.

В их остывающей крови,
как голос юности единый,
сильнее смерти и любви
звучит великий зов путины.

«Ай, люли-люли...» – сквозь века
несется жаркий зов созвучий.
Куда уходят облака?
Куда течет песок сыпучий?..

Зачем на краешек стола,
не наделенная душою,
ползет рыбацкая игла,
уже изъеденная ржою?..

* * *

Лет лебединый на полдень клонит...
Алкей

Время лодки наши движет.
Расступился берег скальный.
И холодной влагой дышит
океан уже недалний.

Дни мелькают всё скорее,
словно бакены, мелькают.
И опять стихи Алкея
мою память окликают.

Но откуда знает память
берега чужой печали?
Мы ведь их не проходили,
мы ведь их не проплывали.

В нас лупили батареи.
Нас дробило валунами.
Что нам было до Алкея,
если плыли через пламя?!

Проплывали пирамиды
из военного металла,
где за Родину убитым
губы смертью обметало.

Плыли в моде и фасоне —
в гимнастерке да бушлате —
от барака в гарнизоне
до квартиры на Арбате.

И работа нас любила.
И в беде не унывали.
Проплывали всё как было.
Всё как надо проплывали.

Но прослышанные где-то —
на пороге, на причале —
строки всех больших поэтов
наши души посещали.

Наполняли руки жаждой.
Заменяли хлеб и млеко.
И никто на свете дважды
не стремился в эту реку.

КЕНТАВР

Над картиною Бёклина

Шарахнулись дети с крыльца,
и бабы крестились сердито,
как я попросил кузнеца
подковы прибить на копыта.

Он лысиной мне покивал,
забегал, от страха хромая,
трехгранные гвозди ковал,
ко мне отвращенье скрывая.

И в плоть мою робкой рукой
металл погружая горячий,
он, слушая голос мужской,
косился на торс жеребчий...

Я рад ворота отворить
в его обителище бедном —
божественный дар говорить
нуждается в слухе ответном.

Я рад покориться ему,

чтоб стало услышанным слово,
хоть больно, хоть мне ни к чему
дурацкие эти подковы.

А чтобы ковал он смелей
и нрав успокоил пугливый,
достал я из сумки своей
бутыль, оплетенную ивой.

Он мне говорил, что металл
стал дорог — одно разоренье.
А я говорил, что устал,
и мучит меня раздвоенье.

Он сетовал: тёща грубит
и скупостью вслух попрекает.
А я — что богами забыт,
а люди меня — запрягают,

Он плакал, что жизнь коротка,
что в мускулах сила иссякла.
А я — что забыли бока
тяжелую руку Геракла.

* * *

Увидел Шлиман, отыскавший Трою:
когда явилась древняя стена —
следы пожаров были в каждом слое.
Какой из них — Троянская война?

Как память человечества прекрасна,
до точности какое дело ей!
Когда он был, и был ли он — неясно,
тот древний спор обиженных мужей.

Но был Гомер. И дело все в Гомере.
И стала тем история жива,
что, выбрав час, приотворила двери,
художнику отдав свои права.

И снится нам... О как нам долго снится
на смуглых шлемах богатырский пот,
отвагой перекошенные лица
и кораблей изогнутый полет!

О наша юность! И твоя тетрадка
пролистана движением огня.
Твоих руин обугленная кладка
хранит следы троянского коня.

И страшно знать, что мог Гомер родиться
полвеком раньше. Или сгнить в плену.
Иль на троянской девушке жениться –
и отменить Троянскую войну...

СЮЖЕТ

Гостиница – случайное жильё.
А мы в тех стенах были ветераны.
Там по утрам пересыхали краны,
и кляли мы пристанище свое.

Меняла нам постельное белье
и протирала тумбочки бархоткой
там девушка с медлительной походкой –
по пятницам мы видели ее.

Она стояла утром у дверей,
закатывая рукава халата,
и что-то пела: тихо, хрипловато,
как будто заболевшая свирель.

Мы жили трудно: каждый обладал
других обременяющей привычкой:
один свистел и ногти чистил спичкой.
Другой курил. Я по ночам читал.

Но перед нею были мы равны:
и фронтовик в ухоженном мундире,
и капитан, мечтавший о квартире,
и лейтенант, который видел сны.

Прогнали зиму теплые ветра,
и зацвели на огородах вишни,
и девушка взяла – и замуж вышла
за грузчика с соседнего двора.

И в комнате не сделалось темней.
И протирались тумбочки не хуже.
Но мы однажды поняли, что дружим,
в три голоса заговорив о ней.

ВОЛХВЫ

Польнь, да пыль, да желтые овраги.
Солдатское пытаем ремесло.
Оно б легло на гусеничной тяге,
но нам и с гужевой не повезло.

Идем с утра. Кирпичного налива

встает закат, охватывая взвод.
Но вот звезда, взлетев из рук комдива,
шипя, пересекает небосвод.

Нам знамения понимать не внове —
своя у них в военном деле роль.
Звезда гласит: «Окопы — в полный профиль.
Совместная атака в три ноль-ноль».

Сидим на остывающей планете,
какой-то хуторок невдалеке.
Там женщина в бревенчатой повети
поет на непонятном языке.

И рядом с ней, подобный тонкой пряже,
натянут свет из дальнего угла,
И празден вол. И сладко без поклажи
дышать спине усталого осла.

Сейчас в окне неведомого крова
телеэкран засветится вдали...
О чью же боль споткнулась ты, дорога?
Какие голоса в твоей пыли?

Мы долго шли своим маршрутом длинным
по молодому голосу звезды.
Окончен путь. И обнажает глина
минувшего усталые пласты.

Окопы — в рост. Последний взмах лопаты.
И мир уснет. И станет тишина.
И вырастет на бруствере покатом
подобная бессмертнику луна...

* * *

На морозный квадрат полигона
ты пришел командиром полка.
У комбатов — дела к пансиону,
а тебе еще нет сорока.

Ты продумал весь бой до деталей,
баритон у тебя волевой.
Но среди юбилейных медалей
на груди — ни одной боевой.

Здесь в боях полкового масштаба,
повторяемых несколько лет,
образцово рассчитан начштаба
календарь вероятных побед.

Всё знакомо: маневр и задача.
Есть порыву простор и огню.
И противник условный, а значит –
бронбойным не врежет в броню.

Проверяющий будет доволен.
И тебе, победителю, честь.
Только что-то у этого боя
театральное все-таки есть.

Облеченные строгим доверьем,
у условности этой в плену,
распушим петушиные перья –
и как будто играем в войну!

Но недаром своих гренадеров,
прежде чем воевать Измаил,
Александр Васильич Суворов
на потешные стены водил.

Он-то знал, что не ищут победы
на обочинах прежних побед.
И противник – опасен. И в этом
ни малейшей условности нет.

* * *

Над ущельем солнышко погасло.
Пулеметы не стреляют с гор.
Чай, пропахший орудийным маслом,
наливает молодой майор.

Полосует нежно и опрятно
сало, пристающее к ножу,
постелив на ящике снаряжном
лист газеты, той, где я служу.

Тень горы, крылатыми краями
занавесив зыбкий наш уют,
поползла над минными полями,
где арыки темные поют.

И звезда, лучи переставляя,
потекла по танковой броне,
часовых и камни оставляя
со своей душой наедине.

Чуть жива от дизельного чиха,
на панели лампочка горит.
А майор раскованно и лихо
про удачу тосты говорит.

Он горяч и крепок в свете алом,
как стакан, наполненный войной.
И погибнет там, за перевалом,
что очнется за его спиной...

На войне мы как-то ближе к Богу.
И приметы – это только блажь.
И ему послужит некрологом
мой о нем случайный репортаж.

Но порой оступится неверно
невеселый бег карандаша:
понимаю, что душа бессмертна,
но читать умеет ли душа?..

* * *

Спаси тебя от пагубных желаний,
мой заговор! Броня его добра.
Он выучен по книге волхований,
сожженной в царевластие Петра.

Он перешел сквозь десять поколений
от губ к ушам! Беззвучно, как игла.
Он передан в минуты откровенья
мне тетушкой, что с горя умерла.

Тех тайных слов языческая сила
лишь только раз исполниться вольна.
Она его для дочери хранила,
но к дочери посваталась война.

Спаси тебя и в странствиях, и дома,
и по снегу, и в жадный час весны.
Он очень прост. В нем все слова знакомы,
лишь сочетанья их изменены.

Но коль слова излечивают раны –
в них страстная материя жива.
И, может быть, энергию урана
сумеют останавливать слова.

ЛОМОНОСОВ

Призвание виною? Эпоха ли?
Но в новом Российском дому
ни Пушкина нету, ни Гоголя,
и всех начинать — одному.

Еще ты пока что единственный.
Перу неуютно в руке.
Но словно бы голос таинственный
подслушан в родном языке.

А в голосе этом одическом,
где северный ветер сквозит,
и Батюшков спит мелодический,
и юный Державин дерзит.

Как снежное поле с дорогою
повенчаны в нем на века
поэзии дело высокое
и крестная ноша стиха.

Ты эту поэзию выстрадал
и потом своим окропил.
Как будто из дерева выстругал.
Как будто скобами скрепил.

Надежно сработал, не наскоро,
чтоб, правды от глаз не тая,
жила в ней поморская, царская,
мужицкая сметка твоя.

* * *

В стране моего огорода
то снег, то весна, то гнилье.
История — тоже природа,
и не за что хаять ее.

Россия меняет порядки,
бунтует, болтает и пьет. —
Но вышла редиска из грядки,
и скворушка — песни поет.

И что нам, живущим навыrost,
пенять, что развалится Съезд,
партийный помазанник выдаст
иль бешеный рынок заест?

Ведь Божии промыслы дивны
в сиянии горних планет.
И — нету предательства в ливне,
И подлости в засухе — нет.

И польза гряды и державы
неясного смысла полна.
И вместе: пеленка и саван
задуманы в семечке льна...

* * *

В карасином озере степном
зацветает зеленью волна.
То ль река иссякла подо льдом,
то ль водица стала солона.

Перелетным — утка да гусям, —
им-то что: на крылья — и лови!
А куда деваться карасям?
Никуда не денешься — живи!

За день прокормиться не пустяк:
осторожны стали червяки.
И карась наплавается так,
что уже не держат плавники.

А потом становится темно,
и плывет по озеру звезда,
опустив на пасмурное дно
голубого света невода.

И тогда, закапываясь в грязь
и глазенки выпучив в тоске,
о Вселенной думает карась
на неслышном рыбьем языке.

И она мерещится ему
голубой, в чешуйчатой волне,
с камышами в илистом дыму,
с кукурузным зернышком на дне.

Он бы всю протоку отмахал,
плыл бы обгоняя корабли.
Но протоку трактор запахал,
и на ней — подсолнухи взошли...

* * *

Может, это работа спасала,
но пока я работал, пока, —
поезда не ходили с вокзала
и стояли в окне облака.

И по льдистому, ломкому скрепу
замерзающей на ночь земли,
упадая с весеннего неба
лиловатые струи текли.

А потом я поставил отточье,
отпустил, успокоил строку —
и тогда разбудил меня ночью
шорох легких шагов на снегу.

И смотрел я на чудо природы,
на подарок ее для слепца:
как сочились подснежные воды
в чей-то маленький след у крыльца...

ТЕРСКОЛ

О.Е.

Ты помнишь, любимая, горские эти дворцы,
где имя хозяйек призывно коровы мычали
и женщины шли из домов, подоткнув подола,
и ведра несли, и по-горскому им отвечали.

Потом начинался прерывистый звук молока,
десятками струй ударявшего сбоку по жести.
И древний порядок, который бытует века,
опять утверждался, исполненный смысла
и чести.

А рядом мы жили в надоблачной этой стране,
меж страхом и снегом на вогнутых лыжах
летая.

Где так я бежал, так бежал я наверх
по лыжне,
когда ты упала на слаломный склон Когутая!

Где стал принудительным этот порядок
смешной —
макать свои лица в когтистые струи нарзана.
Где белым и черным дымился базар шерстяной,
у зябнущих лыжников опустошая карманы.

Там праздные козы легко заходили в кафе,
из черных бочонков лениво текло «Напереули»
и с нами смеялся, пришпилив дыру в рукаве,
веселый десантник, оставивший руку в Кабуле.

На снежный хребет вечерами слетала звезда.
И жизнь на земле становилась воистину раем.
Но шли по стране и кричали внизу поезда.
И женщины шли, подоткнув подола,
по сараям.

И малый козленок, попавший на скальный
отвес,

во мраке просил у людей теплоты и свободы.
И ветры тугие, слетая с высоких деревьев,
вели на равнину густые гурты непогоды...

КЛИНОПИСЬ

Оле

Пал Вавилон. Но что за дело нам
до этих стен? Какая в том утрата
двум ласточкам. Двум пальмовым стволам.
Тропинкам двум на берегу Евфрата?

Приходит время новым городам.
В крови цари восходят над царями.
Текут века. Но что за дело нам,
Обнявшимся крылами и корнями?

Падет топор. Иль пламя. Иль стрела.
Потухнет мир, и сердце в нас остынет.
И мы с тобой разъединим тела —
и прахом разбежимся по пустыне.

Нас не отыщут в золотистой тьме.
Да и зачем? Какая в том заслуга,
что мы когда-то жили на земле
и хоть мгновенье слышали друг друга?..

* * *

Накаркали снегу вороны.
Простуда в любом сквозняке.
И листьев в отрепанных кронах —
как денег в моем кошельке.

Пустыми идут электрички,
верша свой смыкаемый круг.
И смотришь скорей по привычке
на все, что творится вокруг.

Как банки, артели, картели
сшибаются в смертном бою.
Идут телесъемки в борделе.
Убийцы дают интервью.

Как стынет на уличных водах
мазутная сажа и вонь,
и днем в городских переходах
голодная бродит гармонь.

И кажется: это — разлука,
и время — совсем на краю.
Но чувствую женскую руку,
крестящую спину мою.

Неприбыльно бремя земное.
И ноша моя нелегка.
Но словно бы крылья за мною
крестящая эта рука...

К ОВИДИЮ

Оборотись, тоскующая тень!
Привет тебе из моего столетья.
Мы здесь одни.
Уже червонной медью
оправил горы падающий день.
Кузнечный бог с небесной страшины,
гася свой уголь, выронил Плеяды.
И заглушили крымские наяды
магнитофон — убийцу тишины.

Не торопи идущего вослед.
Жизнь позади.
Я тоже стану тенью.
Я разгадал твое вероученье:
неволя — в нас. Вовне неволи нет.

Я посетил однажды пыльный край
твоей беды,
где раньше были томы.
Тогда стоял зеленый месяц май.
И Понт кипел.
В крови была истома
не то дюбви, не то немоготы.
Бумажный хлам закручивался в танце.
И на горячей улице Констанцы
в свои века смотрел из бронзы ты.

И мне предстала пыльная страна
в твоих глазах, прищуренных от боли, —
ленивый скиф в чесночном ореоле,
усталый вол в почти безлюдном поле,
и Понта крутобокая волна.
И на краю быстротекущих лет
своей судьбы тревожное незнание.
И эта мысль:
что ссылка и изгнание —
они беда.
Но в них неволи нет.

А солнце шло, верша свой караул,
переливая с неба на ступени
суровый, отсранный профиль тени.
И в эту тень — я руку протянул!

Невольный жест всерьез не принимай —
но он в крови останется, твой холод.
Тогда стоял зеленый месяц май.
И Понт кипел.
И я был молод, молод, —
не понимал, что слово, как волна,
обречено остаться без ответа.
И нет времен, удобных для поэта.
Еще пойму.
Но жизнь — тому цена...
...Уже заря, скользя по склону гор,
из темноты выпрастывает лозы.
Внизу — дворы. Оттуда слышен спор.
И нежное дыханье абрикоса
перебивает жирный аромат
на волнорезе пойманной ставриды.
Что изменилось?
На холмах Тавриды
все та же дичь,
как век, как день назад.
Худеет скиф и голодает вол,
у власть держащих — ссоры и капризы...

А Понт рокочет, сотрясая мол,
и сильный ветер клонет кипарисы.
И все быстрее движется рассвет.
Поет петух...
Прости меня, Овидий,
за эту вязь
бессмысленных событий.
Неволя — в нас.
Вовне неволи нет!

НА СЕВАСТОПОЛЬСКОМ БРАТСКОМ КЛАДБИЩЕ

Забвеньем и жизнью дорога туда заросла.
И я заблудился среди насыпей, стен и металла.
Но чайка по небу на кладбище ветер несла.
А смертная женщина — путь по земле указала.

Стою у могил и за ходом часов не слежу.
Пульсирует туя своей ароматной кровью.
Поручик Ермилов! Простите, но я посижу,
усталый прохожий, на каменном вашем надгробье.

Давайте смотреть на обветренный город вдали,
у каждого — свой. И на эти размытые горы.
Чуть более метра спресованной зноем земли —
они тяжелы. Но не смогут мешать разговору.

И вы мне расскажете, как начиналась война,
как слава гнездилась на мачтах Российского флота,
как пёрла на ядра, одним только Богом сильна,
голодная, вятская, русская ваша пехота.

Как падал Корнилов, как вы подобрали редут —
и вдруг оказались на гребне удара тугого.
А я доскажу вам, что в госпиталь вас принесут,
но будет бессилён усталый ланцет Пирогова.

Поручик Ермилов, России вы нужен живой.
На вашем геройстве победы она не стяжает.
И ваша жена не сумеет остаться вдовой,
от слез не погаснет и трусу детей нарождает.

Не трогайте сабли! Не ложь вам, а память нужна.
Не ваша вина, что останется подвиг безвестен.
Смотрите на небо! — Уже появилась луна,
червонным тузом покрывая семерки созвездий.

И мир не спокоен. В нем люди уходят в моря.
И штормы доносят гексаметра тяжкие стопы.
И в небо забросив жилые свои якоря,
у пристани Графской линкором стоит Севастополь.

И бродит полынь. И темнеющий воздух горчит.
За бонами бухты беспечные лодки рыбачат.
И гулко, как сердце, бессонное море стучит.
И сладко, как в детстве, бессмертный ракушечник
плачет...

* * *

В продавленной луже любого следа
протекшее небо колышет вода.
Весна — не весна: наказание.
Размокшую землю копать не с руки.
Подался бы в город от этой тоски —
да все не найду расписанья.

Я книг не читаю и водки не пью,
вослед за газетой душе не даю
томиться державным недугом.
Но в нас нестираемо это клеймо —
и время проходит сквозь стены само:

то эхом, то криком, то слухом.

Зайду в магазин — мужики «на газах»,
былого сочувствия нету в глазах,
не спросишь за «так» сигарету.
Каким-то страданием люди больны,
как будто живем от войны до войны,
и легкого продыха — нету.

Дойду по дороге до старых калин.
В осенней щетине непаханный клин —
на осень не жди урожая.
Не меряны дали, несчетны леса —
да вот отливается чья-то слеза,
и тучи заходят с Можая.

Здесь пустоши пахнут ордынской золой,
Здесь, в землю войдя, становились ветлой
те стрелы, что пущены Грозным.
И гул Бородинский витает в земле.
И древние стены в Можайском кремле
унижены словом стервозным.

Где серным пожаром, где мертвой водой
проходит по насыпям век молодой,
на деньги и похоти падок.
По русским могилам пошла лебеда...
А может, и не было их никогда?
И нет у России загадок?..

ПЛЕННЫЙ МЕОТ

Сдавая без боя свои города,
живу в побеждённой стране,
в стране, привыкающей к чувству стыда,
случайной — как смерть на войне.

Где люди не сеют, машины — не ткут,
советы — не держат совет.
И мало того, что ботинки текут,
так даже и Родины нет.

И нет у великих и малых властей
в душе ни звезды, ни креста.
Перуны восходят из мертвых костей
и «братья на братья восста».

Бездомные топят тоску в стопаре.
И кровь прикипает к рублю.
И я — человек на последней заре —
как дерево, это терплю.

На корме осторожный завхоз
лимонад разливал на троих.
И учитель из города вез
две авоськи нечитанных книг.

Он на темные воды смотрел
и о жизни своей рассказал,
словно гласными в дудочку пел,
а согласными — бревна тесал.

И хотелось мне в жизни его,
удивленье и робость тая,
может, встретить себя самого
оттого, что она — не моя.

И о прожитых днях не грустить.
И любимых, как птиц, отпускать.
И тяжелые бревна грузить.
И веселые книги таскать.

И смотреть, как плывет на ветрах
Неоконченный берег вдали
с валунами на низких буграх,
с деревеньками цвета земли.

Как буксиры и реки сквозят,
как деревья и камни растут
из времен, что под нами лежат,
к временам, что над нами пройдут...

* * *

Что там, за синюю звездой?
Какая глубь? Какая млечность?
Зачем внимает Бесконечность
напеву дудочки пустой, —

когда на несколько минут,
ускорив ночи коротанье,
в ее бузиновой гортани
два чистых лада оживут?

Один — теряется в дали
и в ту бездонность упадает,
куда уходят корабли,
и легкий шарик улетает.

Свободно дышится ему
над разбегающейся бездной.
Но скучно в небе одному,

коль ты земной, а не небесный.

Ну а второй – пониже лад.
Он где-то в травах, недалече.
Шмели на зов его спешат,
и донник зажигает свечи.

Ему не крылья тяжелы –
ему милее звездной пыли
простая пыль родной земли,
да эхо темное вдали,
да отзвук в шепоте ковыльном.

Но без стрелы бессилен лук.
Но без крыла пустынно небо.

Но даже самый точный звук
один – не вылепит напева.

Лады уже едва слышны.
Но за мгновенье до разлуки
печальный гений бузины
соединяет эти звуки.

И вот тогда в росе полей,
сгустившись, звезды засыпают,
и Бесконечность забывает
о бесконечности своей...

* * *

Еще луга густы на наволоке,
И с комарами маята,
но запах йода бродит в таволге,
и в ряске выпалась вода.

Линяет глина цвета лисьего
от полудённого тепла,
и от Можайска на Денисьево
по небу радуга стекла.

Но дни стоят непостоянные,
и чует ломкая ветла,
зачем яичко окаянное
кукушка иволге снесла.

Едят отаву козы пленные,
попынью вяжут молоко...
Не уследить за переменами,
но их почувствовать легко.

И хоть они не знают облика,
но для несносной головы
пути до Бога — только облако,
и много дольше — до Москвы.

Уже крапивой гряды залиты,
И стало холодно в доме,
и то, чем мы от века заняты,
уже не нужно никому.

И ходят травы безымянные,
ночами слушая окно.
Но топорнице безымянное
еще листвой оперено...

* * *

Слизало лето ржавые болота.
Пошли в разгул побегу молодые.
А в облаках — скребутся самолеты.
А за лесами — пустыни святы.

И свет от них восходит вечерами,
Как зарево над теменью зубчатой,
Когда уснет за дальними буграми
медовый месяц, осами початый.

И дышит миром каждое мгновенье.
И ухо слышит созреванье злаков.
Но время и природа — в раздвоенье,
и помысел у них не одинаков.

Мы снова перекраиваем память:
ни возвратить, ни выпрямить, ни сладить.
И кто теперь погасит это пламя,
которое не знает благодати?

За первой жизнью не придет вторая.
И в благодать уверовать нелепо
на пустошах, потерянных для рая,
где камни вызревают вместо хлеба.

Но все-таки прекрасны эти дали!
Холмы и веси, темный свод еловый,
где целые столетья пропадали,
не обронив ни кустика, ни слова.

Где, поспешая к позднему ночлегу,
вослед машинам с шалыми глазами
«курлы-курлы...» — протянется телега
и где-нибудь потонет за лесами...

МОЖАЙСКИЙ ПОЕЗД

1

Прошли осенние хворобы.
И, как ведется у зимы, —
трещит кора, кипят сугробы,
и ветер комкает дымы.

Молчат униженные рощи.
Вода и память взаперти.
И печку вытопить не проще,
чем жизнь, чем поле перейти.

Зима опять не знает века.
Но кто же выучил зиму
тревожить совесть человека
и в дом заглядывать к нему?

И вот, едва печная нега
оближет окна ото льда, —
там что-то движется по снегу,
не проминая в нем следа.

Душа ли чья на пепелище
летит от неба отдохнуть?
А может, смерть кого-то ищет,
по дыму исчисляя путь?

Иль загулявший бедолага
пути не видит с похмела?
Иль это только сгусток мрака
кочует в поисках тепла?..

2

Но мрак плечом отодвигая,
дыша мазутом и страной,
летит и лупит жизнь иная
по стыкам линии стальной.
Пугают слухи по вагонам,
(глаза закроешь — и лови) —
то демонстрацией с разгоном,
то новым вирусом в крови,
то будто армией в развале,
то поллитровкой за полста...

Бывало, рта не открывали —
теперь закрыть не можем рта.
Забыв, что с поездом и ночью

мы все — компания кутил —
в контейнер втиснутый не прочный
без рельсов мчащий меж светил.

Живем, поспешно развлекаясь
свободой, ссорой, суетой,
пока природа, содрогаясь,
тела не выпрямит бедой.
Пока не спросит с человека
за разоренное гнездо...

Пусть зима не знает века, —
но веку зябко без пальто.

3

А на платформе злее стужа.
Но жизнь покажется добрей,
когда нас выпихнет наружу
из пневматических дверей.

Когда увидишь за огнями
свои можайские холмы
и кое-где над деревнями
печные редкие дымы.

Там на дровах да керосине,
да о продуктах вдалеке
живет усталая Россия
в линялом ситцевом платке.

С пучком рябины под застрехой.
С плавучим ковшиком в ведре.
И, как зима, не знает века,
который нынче на дворе.

Живет в разоре и печали,
о павших воинах скорбя.
Ее измучили речами,
и в жены брали не любя.

Она спины не разгибала
и белых рук не берегла.
И на войне победовала.
И всех вождей перемогла.

Живет, от века не лукава
и подаяний не прося.
Но есть межа, черта, застава, —
та, за которую нельзя.

Где, никому не угрожая,

но и при всех своих полках,
стоит Никола из Можая
с мечом и церковью в руках.

И ты идешь ему навстречу,
продукты тащишь в рюкзаке, —
а русский снег сгибает плечи
и протекает по щеке...

НИКОЛА ЗИМНИЙ

Когда молчат законы и заветы
и черный хлеб замешен на крови,
приходит час будить в себе поэта,
и говорить о чести и любви.

Когда, не веря отчему порогу,
глумится сын над памятью отца,
и по словам бессовестных пророков
стекает яд, сжигающий сердца,
и, как больная, мечется природа,
пугаясь человеческой руки, —
неужто Лель не победит Эрота?
Неужто честь не заострит клинки?

Подходит час.
Назвать его не смею,
но, словно мышь, почуя первый дым,
я не нору спасаю, как умею,
а общий дом, что всем необходим.
Где над снегами теплется, как свечка,
Николою возженная луна.
И, как страна, не остывает печка.
И древний дуб вздыхает у окна.
Так не молчи! —
Любови удостоясь,
душа жива. И нет другой руки,
когда, как зуб, выдергивают совесть,
и у законов ноги коротки.
Вспаши свой пласт.
Долбай свою породу.
Сшивай мосты, коль хватит силы шить.
И не болтай, что ты служил народу.
Народ не царь — зачем ему служить?
В его беде — живут своей виною.
Его молчанью — слово невпопад.
Но — говори, коль в том твое земное,
пока еще над древнею строною
готов начаться древний снегопад.
Пока еще умеет повториться
вот этот снег, что падает, звеня,

в пороховые улицы столицы.

Пока еще троллейбусные спицы
не высекли
из воздуха
огня.

* * *

Как на Древнюю Русь печенеги,
набежали снега, намели.
Онемела вода. И застрехи
ледяною пилой поросли.

Что же ты, моя милая, слышишь?
Что смеяться тебе не велит?
Может, маленькой доченьке пишешь
или память к погоде болит?

Ты же знаешь, что, нами творима,
изменилась природа сама.
Есть у памяти разные зимы.
Начинается наша зима.

Посмотри, как вон там, за перроном,
где сугробы пухлы и вкусны,
геральдически дремлют вороны
в государственной кроне сосны.

И обходит безлюдные дачи
и беленные снегом дворы
этот дедовский, гулкий, бродячий –
этот воздух с настоем коры.

Посмотри, как штaketник отважен:
поредельй, но принявший бой,
не рифмован еще, не отлажен –
он Москву прикрывает собой.

Словно стрелы, наострены тропы.
А вдали, за излучкой речной,
от оправленной в камень Европы
поднимается выдох печной...

И на нас за окладом морозным
неизбывные лица глядят.
И столетья, прожитые розно,
на любовь, как на лампу, летят.

И так сладко имен совпадение,
сородненье руки и крыла.

И снега продолжают паденье.
И проносится мимо стрела...

* * *

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снегирь...
Г. Державин

С утра морозно. Над домами
дымы стоят веретеном.
Снегирь в гусарском доломане
клюет рябину за окном.

В снегах, вдали от жизни светской,
от службы, царской ли, советской,
по чьей-то воле иль вине
отставлен —
я живу, как пленный,
сменив суровый шарф военный
на разгильдяйское кашне.

Судьбе и веку благодарный,
почти не явленный числом,
осколок рати легендарной,
зачем-то пущенной на слом,
я не ищу в себе героя. —
Я лучше печку растоплю,
музыку нежную настрою
да бабу снежную слеплю.
Да на границе огорода
для снега выстрою заплот...

Когда в России нет народа —
то каждый сам себе народ.

А куст рябины, чуть оттаяв,
с ветвей отряхивает лед...
Снегирь клюет. Как Чаадаев
свое Отечество клюет.

О, сколько их,
таких свободных,
страну клюющих задарма,
отменно умных, благородных,
но все же сдвинутых с ума,
казнимых, каторжных, болящих
родила в замыслах благих
свободу блуда — для гулящих,
свободу слова — для глухих.

Обманы те и те порывы,

увы, я знаю по себе.
И вот живу теперь, как рыба,
с крючком на порванной губе.
Неволи нет. И нет желаний
менять порядок мировой.

А день уходит за елани....

Лети, снегирь, пока живой!
Лети над изморозью пенной,
калину сладкую ищи.
Но только больше песнь военну
на русской флейте не свищи!

КАК ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ...

В.У.

1

Я край один запомнил наяву,
где ветры примерзали к рукаву,
где пять домов, глядящих на восток,
составили военный городок.

Там пахла торфом талая вода.
Оттуда жены рвались в города.
Но даже до районного села
там ни одна дорога не вела.

Снегами до бровей запушены,
там слушали движенье тишины,
оберегая эту тишину,
все наши жизни, слитые в одну.

Мне кажется порой, что в том снегу
к своей ракете я еще бегу,
и времени отрывистый отсчет
в обратном направлении течет:
«Четыре...»

«Три...»

Движения — точны.
Всё круче натяженье тишины.
Последний раз звучит доклад: «Готов!»
И все мы там у пультов и щитов,
и этот снег,
и темные леса
уже — прифронтовая полоса.
Рука — на ключ. И холодно в груди.
И жизнь прожить — поляну перейти.

Остался шаг...

Но вот издалека
дает «отбой тревоги» комполка.
И время поворачивает бег.
И тает снег. На куртках тает снег...

Прекрасны вы, встающие с утра
на зов станка, валторны иль пера.
Прекрасны вы, встающие в ночи,
чей зов — приказ, чьи руки горячи!

Прекрасны вы, лесные хутора.
Тропа домой. И варежки нора.
Поляна звезд, и эта тишина,
в которую Земля погружена.

2

Невидимы для глаз, —
как подо льдом река, —
оберегают нас ракетные войска.
И дома, и в пути, и в ливень, и в пургу, —
не надо забывать, что мы у них в долгу.

У тех, кто городов не строит на земле
и к звездам не летит на звездном корабле,
не вспашет борозды и не напишет книг.
Иная их судьба.
Иная цель у них.
От городов вдали, от праздников вдали,
их чуткая рука на пульсе у Земли.
...Я помню, как у схем, когда в глазах серо,
нам снились наяву театры и метро.
Как пили в Новый год не водку, а чаек,
у стартовых кругов дежуря в свой черед.
Как ладили очаг
на воинских харчах,
и небо, и детей носили на плечах.
И в сотни рук сильней была рука,
и личная судьба — была судьбой полка.

...Как первая любовь —
ракетные войска!

* * *

Как мало чувства нам осталось!
Года связали, словно льдом,
Все, что кипело и металось,
и дурью маялось потом.

Уже не ранят неуспехи.
Уже обходят стороной
любви разбойные набеги
и дружбы розыгрыш хмельной.

Но, отойдя от жизни праздной,
своим покоем дорожа,
неторопливо, непоказно
печально думает душа.

Так, навещая поле битвы,
о павших воинах скорбя,
Высокий Дух слова молитвы
творит не вслух, а про себя.

* * *

Вот оно, Господи, позднее время мое!
Знала ли юность, что с нею случится такое?
Печка дымит, и тепла не идет от нее.
Сердце дурит, и товарища нет под рукою.

Время зимы, выдающей себя за весну,
снег января замесившей войною и грязью.
Время зеркал, затаивших свою кривизну,
чтоб человек привыкал к своему безобразью.

Время предателей. Время пролаз и подлиз,
деготь вранья улащающих ложкою меда.
Время деревьев, повернутых кронами вниз.
Время кротов, обучающих птицу полету.

Время убийц, ощущаемых каждой спиной.
Время, когда, неразумные души калеча,
сленг иноземный срастается с феней блатной,
чтоб мародерствовать в русской болящей речи.

Старых знамен и орлов геральдический бред.
Странных законов почти несваримые брашна.
Время солдат, у которых Отечества нет.
Время наград, удостоиться коими страшно.

Время свободы, которой уже через край.
Хлеба добудешь — а чести себе не алкаешь.
«Не привыкай — говорю себе, — не привыкай!
В этом и подлость, что ты ко всему привыкаешь!»

Не привыкай, — я себе говорю, — удержи
совесть от сна и сознание свое от распада.
Сядь за бумагу и правнуку письма пиши.

Голос твой слаб — но надсаживать горло не надо.

Пусть имена обучавших Отечество красть
он прочитает без нынешней сахарной лести.
Шут с ним другая — но только бы честная власть:
стерпится — слюбится, если женилка на месте!

Печка пошла. Продолжается день не спеша.
Падает снег, проходящему дню не мешая.
Слышится стон. — Приближается чья-то душа.
Или — в полях — электричка проходит к Можаяю...

* * *

В соловьиную ночь на Бориса и Глеба
кочевала заря по окраинам неба.
Отдыхая, тяжелые руки легчали.
И не ведало сердце беды и печали.
И костер веселился, по сучьям летая,
как летает по юности жизнь молодая.
И о счастье заботиться было нелепо
в соловьиную ночь на Бориса и Глеба.

А вокруг по садам соловьи распевали,
словно вечные клятвы друг другу давали,
уверяли, что смерти для любящих нету.
И хотелось поверить в нелепицу эту.

Ах, Россия, Россия, крестьянское поле!
Все ты воли хотела — но где твоя воля? —
На пространствах твоих, как печальная треба,
повторяются судьбы Бориса и Глеба.

А вокруг по садам соловьи не смолкали;
то певучие клювы в заре полоскали,
то в летучие флейты искусно дышали,
так печально и сладко, как жизнь провожали.

Но хотелось, чтоб жизнь никогда не кончалась,
и над нею — дубовая ветка качалась,
и дожди насылая на теплое лето,
в деревянной кадусе плескались планеты.
Чтобы наши надежды и наши страданья
трепетали всю ночь в соловьиной гортани.
Чтобы зябкое тело мое согревая,
истлевало, как сердце, зола костровая...

А когда я уеду из этого дома
на сосновый бугор в молодую урёму,
принеси мне вина и можайского хлеба
в соловьиную ночь на Бориса и Глеба.

На поре молодой, на заре соловьиной
помолчим, как бывало в той жизни недлинной.
Посиди, коль не страшно, со мной до рассвета.
Может, смерти и вправду для любящих нету...

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Юрий Беличенко*. Звенья. Стихи. Рига, 1969.
2. *Юрий Беличенко*. Виток времени. Стихи. Рига, 1974.
3. *Юрий Беличенко*. Время ясеня. Стихи. М., 1978.
4. *Юрий Беличенко*. Полынь зацвела. Стихи. М., «Советский писатель», 1986.
5. *Юрий Беличенко*. На гончарном круге. Стихи. М., «Современник», 1986.
6. *Юрий Беличенко*. Зов чести. Стихи. М., «Воениздат», 1989.
7. *Юрий Беличенко*. Усталая Россия. Стихи. М., «Рекламная библиотека поэзии», 1997.

Виктор Верстаков

ТАКАЯ СУДЬБА

Родился 20 декабря 1951 года в поселке Ветрино Витебской области, где, впрочем, почти не жил, а был перевезен родителями к новому месту отцовской службы.

Отец, Верстаков Глеб Викторович, уроженец г. Кирова (сын директора городского Ботанического сада), воевал на Великой Отечественной танкистом, был ранен, контужен, горел в танке. Дослужился до полковника, умер в 1980 году.

Мать, Верстакова (девичья фамилия Шаповалова) Нина Павловна, из тверского крестьянского рода, в войну работала в госпиталях, затем стала служащей железнодорожных войск, вышла замуж за отца вскоре после войны.

Детство прошло по гарнизонам страны и в Германии, где я и начал писать стихи, подражая популярному тогда Сергею Есенину. Но более взрослое и, пожалуй, главное детство прошло у меня в г. Шуя Ивановской области, куда отца перевели служить в 1962 году. Первая любовь, первые драки, первые настоящие друзья – всё это в Шуе. А учился я там в средней школе № 2 – бывшей городской гимназии, из которой в свое время выгнали поэта Константина Бальмонта и которую потом окончили несколько известных в русской литературе писателей, среди них – Ефим Вихрев, Аркадий Васильев, Юрий Виноградов, Владимир Урусов (популярный поэт молодой волны в 80-х годах, мой родной брат, печатавшийся под псевдонимом).

В 1968 году, после школы, поступил в Московский авиационный институт, там заскучал и в 1970-м году стал курсантом Военно-инженерной академии имени Ф.Э. Дзержинского. В том же году начал печатать стихи: в шуйской газете «Знамя коммунизма» и в газете Московского военного округа «Красный воин»; точных дат первых публикаций не помню, поскольку архива не веду.

После академии и недолгой службы в войсках неожиданно получил приглашение в газету «Правда», где и провел двенадцать журналистских лет сначала в военном отделе, а затем в отделе информации. Главным событием той поры – да и всей жизни – был поход нашей 40-й армии в Афганистан, именуемый, не совсем грамотно, «афганской войной». Мне довелось бывать в Афганистане и в первые дни похода, и в срединные, и в последние, причем именно как военному журналисту, а не как политическому. Там навеки потерял немало друзей и героев моих репортажей и очерков. Был награжден в те годы медалью «За боевые заслуги» и орденом Почета.

В 1989 году стал руководителем Военно-художественной студии писателей при Министерстве обороны СССР, которая в 1994 году была расформирована, после чего я ушел из армии.

Член Союза писателей России. Полковник запаса. Женат, имею двоих детей и трех внуков.

В литературе и в жизни следую традициям русской классики и русской армии. Поэтому и авторитеты традиционны: Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Блок, Твардовский, позже – Георгий Иванов.

* * *

Мокнет брезентовый лагерь,
трубы дымятся во мгле,
отяжелевшие флаги
низко склонились к земле.

Дизель устало рокочет,
лампочки тускло горят.
Темные горные ночи.
Светлые судьбы солдат.

Вижу, как над перевалом
в тучах мелькнула луна.
Сколько великого в малом –
в том, что сияет она.

Значит, влюбленные где-то
тихо сидят допоздна
в зареве лунного света.
Значит, не всюду война.

1980

ВЕЧЕР В ПОЛЕВОМ ЛАГЕРЕ

Над лагерем звезды и горы.
Привычно рокочет движок –
палаточный маленький город
походные лампы зажег.

Гремя оцинкованной жестью
разносят истопники
солярку, последние вести,
махорочные огоньки.

В штабной незавидной палатке
трещит полевой телефон:
«Так точно. В обычном порядке.
Вас понял... Тактический фон...»

А воздух морозен и плотен,
а звезды – подпрыгни и тронь,
а в приданной танковой роте
играет шальная гармонь.

Постой, я же помню все это,
все это сбывалось точь-в-точь:
движок, и гармонь, и ракета,
на миг осветившая ночь.

Во сне, наяву ли сбывалось –
познать нам еще не пора:
отцовская кровь проливалась
с восходом, в четыре утра.

1980

В НОЧНОМ ПОЛЕТЕ

На взлете, когда с разворотом
ушли неизвестно куда,
я видел: над правым пилотом
слегка покачнулась звезда.

По кожаным летным регланам
скользнул неразгаданный свет,
рожденный межзвездным туманом
и отблеском мертвых планет.

Быть может, навечно над миром
впечатался в ночь самолет?
Земля говорит с командиром.
Сутулится правый пилот.

1980

ПОЙ, ТРУБА

Перевалы до самой границы
в облаках, в камнепадах, во мгле.
Боевые железные птицы
сбились в кучу на мокрой земле.

Отсырели брезенты палаток,
дым над лагерем, словно венец.
Сотню лет или малый остаток
нагадает пролетный свинец?

Не об этом, однако же, думы
в этот час, в этот день и судьбу.
И с повадкой отнюдь не угрюмой
сигналист продувает трубу.

В первой ноте, слегка хрипловатой,
он о долге напомнил, и вдруг
о солдатской дороге крылатой
задышал в запотевший мундштук.

И откликнулись близкие склоны,
и в разрыв проплывающих туч
опустился с небес на погоны
ослепительный солнечный луч.

Пой, труба, о солдатской удаче,
о высокой армейской судьбе.
Горным эхом и солнцем горячим
салютует эпоха тебе.

Пой, труба, батальоны сзывая,
наполняя отвагой сердца.
Пой, труба, твоя песня живая
звонче мертвого свиста свинца.

1980

БЕРЕЗА

Там было экзотики много,
но тронули душу всерьез
блеснувшая лужей дорога
и мокрые плети берез.

За острый хребет Гиндукуша
судьба ведь недаром ввела.
А надо же, тронули душу
такие простые дела.

Знать, родина помнится всюду,
чем дальше она, тем милей.
И я никогда не забуду
проселков ее и полей.

Но эти огромные горы,
глубокие чаши долин,
высокие звездные хоры,
поющий во тьме муэдзин,
развалины древней мечети,
кочевных становий костры,
кровавый зубец на рассвете
подсвеченной снизу горы,
нависшие грозные скалы,
в ущельях сквозные ветра —
да разве же этого мало?..

Березу увидел вчера.

1980

* * *

Прицел наверняка,
глядит навстречу ствол.
Сухой щелчок курка —
осечка. Ты пришел.

Пришел домой с войны,
а дом такой, как был,

друзья с тобой дружны,
верна, кого любил.

Рассказываешь, как
ты жил от них вдали,
что ел, какой табак
со склада завезли,

как из ущелья днем
звезда видна полдня,
как жутко под огнем
и ночью без огня.

И слушают друзья,
и девушка нежна.
Но жить, как жил, нельзя –
насквозь прошла война.

А может быть, прожгла.
В том нет твоей вины,
коль жизнь уже была
в залоге у войны.

20 августа 1980

НА КРУГИ СВОЯ

Вернуться на ту же войну,
которую видел и знаешь,
которую, как седину,
от юной подружки скрываешь.

Я старше почти на века,
я даже для сверстницы старей,
хоть роль удастся пока
певца с шестиструнной гитарой.

Вернуться на те же круги,
которые пройдены маршем,
где, бой продолжая, враги
меня, постаревшего, старше.

Попомнится год без войны,
романсы мои и забавы!..
И даже на клоч седины
потеряно временно право.

1981

НА ПЕРЕВАЛЕ

Война становится привычкой,
опять по кружкам спирт разлит,
опять хохочет медсестричка
и режет сало замполит.

А над палаточным брезентом
свистят то ветры, то свинец.
Жизнь, словно кадры киноленты,
дала картинку наконец.

О чем задумался, начштаба,
какие въявь увидел сны?
Откуда спирт, откуда баба?
Спроси об этом у войны.

А хорошо сестра хохочет
от медицинского вина.
Она любви давно не хочет,
ей в душу глянула война.

Эй, замполит, плесни помалу,
теперь за Родину пора...
Нам не спуститься с перевала,
который взяли мы вчера.

1983

В ГОРАХ

Нас в горах не найдет
почтовой самолет,
и письмо от тебя
до меня не дойдет.

Посветлеют снега,
встанут стены огня.
Будет бить ДШКа
из ущелья в меня.

Будет бить ДШКа,
будет жизнь коротка,
может быть, у меня,
может быть, у стрелка...

Нас в горах не найдет
даже радиосвязь.
С безымянных высот
лупят в нас, не таясь.

Поднимаемся в рост,

отвечаем огнем,
между огненных звезд
по Вселенной идем.

И краснеют снега,
и дробится скала.
Смерть в горах дорога —
жизнь такой не была.

Нас в горах не найдет
запоздавший приказ,
и никто не придет
и не выручит нас.

Погибает десант,
погибает навек.
...Погодите, я сам,
это — мой человек,

это мой ДШКа,
это мой разговор,
я дойду до стрелка,
он не спустится с гор...

Нас засыплет метель,
нас завалит скала.
Смерть мягка, как постель,
жизнь такой не была.

Мы в объятьях сплелись,
мы навеки родня.
Пусть продолжится жизнь
без него и меня.

1983

ВОЙНА НЕ ПОНИМАЕТ НАС

Вечерний свет в горах погас,
в ущелье сыро и темно,
вода во флягах, как вино...
Война не понимает нас.

Пусть оставались мы не раз
в ущельях с ней наедине,
но ни на склонах, ни на дне
война не понимала нас.

На гребни высланы посты,
их поменяют через час.
Война глядит из темноты,

она не понимает нас.

А мы опять не жжем костры,
а мы уже не тушим глаз.
Война не понимает нам,
иначе б вышла из игры.

1983

* * *

Разведка цветы собирала
в долине, где травы по грудь.
Разведка в том рейде устала,
ей дали часок отдохнуть.

Разведка срезала штыками
у самой земли стебельки –
над розовыми лепестками
мальчишек седые виски.

Разведка брезент развернула,
горой уложила цветы,
с колен поднялась и шагнула
на передовые посты.

Прощай, войсковая разведка,
ты ведаешь все на войне.
Судьба ошибается редко,
разведчики – реже вдвойне.

К утру потемнели в расцветке,
как кровь, запеклись лепестки.
Опять не ошиблась разведка –
такие и нужно в венки.

20 октября 1983

* * *

Горит звезда над городом Кабулом,
горит звезда прощальная моя.
Как я хотел, чтоб Родина вздохнула,
когда на снег упал в атаке я.

И я лежу, смотрю, как остывает
над минаретом синяя звезда.
Кого-то помнят или забывают,
а нас и знать не будут никогда.

Без документов, без имен, без наций
лежим вокруг сожженного дворца.
Горит звезда, пора навек прощаться,
разлука тоже будет без конца.

Горит звезда декабрьская, чужая,
а под звездой дымится кровью снег.
И я слезой последней провожаю
все, с чем впервые расстаюсь навек.

1982

В КОРОЛЕВСКИХ КОНЮШНЯХ

В королевских конюшнях
метра нет для коня.
Медсестра раскладушку
принесла для меня.

Очень трудно голубке
в коридоре, где сплошь
встык обрубком к обрубку
полегла молодежь.

Отыскала местечко
в самом дальнем углу,
где десантник навечно
задремал на полу.

Унесли бедолагу,
положили меня.
Я отсюда ни шагу,
я спокойней коня.

Ведь от ног до макушки
весь я гипсовым стал,
Мне не надо подушки,
разве что пьедестал...

Медсестра, медсестричка,
что ж ты слезоньки льешь?
Как же ты без привычки
здесь, в конюшнях, живешь?

В королевских конюшнях,
в госпитальном чаду,
в наркотичном, спиртушном,
матерщинном бреду.

Если чудо случится,
если снова срастусь, -

дай свой адрес, сестрица,
может быть, пригожусь.

Ну а коль не воскресну,
все равно хоть часок
проживу, на чудесный
поглядев адресок.

В королевских конюшнях
метра нет для коня.
Медсестра мою душу
унесла от меня.

1982

НЮРКА

Плачет Нюрка, живая душа,
слезы с кровью смешались на лапах.
Ах, как Нюрка была хороша –
самый тоненький чуяла запах.

Плачет Нюрка, а птица летит,
боевая железная птица.
Плачет Нюрка, себе не простит.
Но ведь плачет. И все ей простится.

Гладит Нюрку родная рука.
Ей лизнуть бы хорзьяйскую руку:
так знакома она, так легка,
обреченная Нюркой на муку.

Вертолетный врезается пол
в иссеченное Нюркино тело.
...Сотню раз она чуяла тол,
а в сто первый – чуть-чуть не успела.

По загровку прошел холодок,
когда запахом сбоку пахнуло,
но на тонкий стальной проводок
по расщелине лапа скользнула.

И взметнулся огонь из камней,
и запахло железом каленым,
и хозяин, идущий за ней,
опустился на землю со стоном.

И ползла к нему Нюрка, ползла,
и лизала его, и лизала,
и хрипела – на помощь звала,
глазами всю боль рассказала.

Подбежали к саперу друзья,
обмотали бинтами сапера.
Он сказал: «Мне без Нюрки нельзя». –
«Нет, - сказали ему. Это горы...»

Вертолет прилетел поутру,
их вдвоем погрузили в машину.
«Ты не плачь, Нюрка, я не умру,
ты не плачь, я тебя не покину».

Но плачет Нюрка, живая душа...

1986

ДЖЕЛАЛАБАД

Днем ветер, ночью снегопад,
морозные рассветы.
А мы летим в Джелалабад,
в Джелалабаде лето.

Там в эвкалиптовых ветвях
большие, как сороки,
десятки желтогрудых птах
устраивают склоки.

Там берега реки Кунар
травой покрыты сочной,
и над водой молочный пар
восточной дышит ночью.

Там пальм упругие листы,
как зеркала, сверкают,
и звезды с чистой высоты
по ним в траву стекают.

Там над ручьем стоит камыш
в три роста человеческих,
летучая ночная мышь
порхает в нем беспечно.

Там обезьяны из чащоб
пугают визгом уток.
Там снайпера стреляют в лоб,
что тоже кроме шуток.

1986

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

Разорван погон под ремнем автомата,
истерлась тельняшка на левой груди,
где сердце колотится, не виновато
во всем, что за нами и что впереди.

Прошли по ущелью, спустились в долину,
поднялись оттуда на горный хребет,
в бою разделившись на две половины –
оставшихся здесь и оставивших свет.

Прошли по хребту, по горящему склону,
фронтальной атакою взяв перевал.
И снова Господь перестроил колонну:
из двух одного в небеса отозвал.

Пошли с перевала по тропам овечьим,
по минным ловушкам, под скрестным огнем,
внезапно сверкавшим сиянием вечным
ребятам, с которыми рядом идем.

Спустились по тропам на горное плато.
Легко нам загадывать – нечет и чет:
один из нас в небо взметнется крылато,
другого навеки земля привлечет.

1987

* * *

В. К.

От боя до боя не долго,
не коротко, лишь бы не вспять.
А что нам терять, кроме долга?
Нам нечего больше терять.

И пусть на пространствах державы
весь фронт наш – незримая пядь.
А что нам терять, кроме славы?
Нам нечего больше терять.

Пилотки и волосы серы,
но выбилась белая прядь.
А что нам терять, кроме веры?
Нам нечего больше терять.

Звезда из некрашеной жести
восходит над нами опять.
А что нам терять, кроме чести?
Нам нечего больше терять.

В короткую песню не верьте,
нам вечная песня под стать.
Ведь что нам терять, кроме смерти?
Нам нечего больше терять.

19 июня 1987

МАРИЯ

Волнуюсь, иду по проспекту,
не веря себе самому:
неужто забыл я, как некто
был мною вот в этом дому?

И рядышком с булочной где-то
девчонка в ту пору жила.
А Верой звалась или Ветой, -
не помню, такие дела.

Но это далекие годы,
лет тридцать прошло с тех времен.
Не помню вчерашней погоды
и позавчерашних имен.

Стираются в памяти лица,
события и адреса,
точь-в-точь, как отдельные спицы
у мчащегося колеса.

В безудержном этом движеньи
меняются скорости, но
на экстренное торможенье
попыток в судьбе не дано.

Останемся там, где не сможем
смириться, забыть, зачеркнуть,
где ни ездоком, ни прохожим
продолжить не хочется путь.

Смотрю на полочку зари я
и вниз, где все спицы видны...
Нет, я тебя помню, Мария
из первой афганской войны.

9 августа 1987

* * *

Над бессонною кроватью

желтый снимок на стене.
Где вы, братья, где вы, братья,
мои братья по войне?

Заклученные в объятя
предававшими в огне,
с кем вы, братья, с кем вы, братья,
мои братья по войне?

Не на вас лежит проклятье
за безумие в стране...
Вы куда идете, братья,
мои братья по войне?

Вас не вправе осуждать я,
но все чаще снятся мне
невернувшиеся братья,
наши братья по войне.

Да, одеждою и статью
мы такие же вполне.
Отчего ж так стыдно, братья,
перед снимком на стене?

31 августа 1987

ДЕВЧОНКИ НАШЕГО ПОЛКА

Я не о тех, кто ждет нас дома,
хоть жизнь их тоже нелегка...
Грустят под гул аэродрома
девчонки нашего полка.

Дрожат брезентовые стены,
мигает лампа в тридцать свеч.
Все прочее обыкновенно,
и не о быте, в общем, речь.

В палатке гладят и стирают,
в палатке думают о нас,
но от любви не умирают,
как мы от выстрелов подчас.

Библиотекарша, связистка,
официантка, медсестра.
Стоят их коечки так близко,
чтобы шептаться до утра.

Но вот заходит на посадку
с гор прилетевший вертолет,
и медсестра глядит украдкой

на телефон и воду пьет.

Палаточный откинув полог,
выходит молча за порог.
Как странен взгляд ее, как долог,
как темен мир и как жесток.

Пусть обошлось: никто не ранен
на тех горах, где мы лежим, -
но долог взгляд ее, и странен,
и не по-женски недвижим.

А утром четверо девчонок
бегут по взлетной полосе,
и подполковник Азаренок
кричит им: «Стойте, живы все!..»

Февраль 1988

ДЕВЯТАЯ РОТА

Еще на границе и дальше границы
стоят в ожидании наши полки,
а там, на подходе к афганской столице,
девятая рота примкнула штыки.

Девятая рота сдала партбилеты,
из памяти вычеркнула имена.
Ведь если затянется бой до рассвета,
то не было роты, приснилась она...

Войну мы тогда называли работа,
а все же она оставалась войной.
Идет по Кабулу девятая рота,
и нет никого у нее за спиной.

Пускай коротка ее бронеколонна,
последней ходившая в мирном строю, -
девятая рота сбивает заслоны
в безвестном декабрьском первом бою.

Прости же, девятая рота, отставших:
такая уж служба, таков был приказ.
Но завтра зачислят на должности павших
в девятую роту кого-то из нас.

Войну мы опять называем работа,
а все же она остается войной.
Идет по России девятая рота,
и нет никого у нее за спиной...

17 февраля 1988

ДОЛГИ

При свете единственной свечки
сидим в чужедальной земле.
Игральные карты – сердечки
тасуем на шатком столе.

Пустые спиртовые фляги
отбросив ударом ноги,
на желтой газетной бумаге
взаимные пишем долги.

Еще не стреляют снаружи,
палатка дрожит на ветру.
Война ошалела от стужи,
очнется она поутру.

Бормочем сквозь сон прибаутки,
бахвалимся дамой бубей,
роняя – пока ради шутки –
привычное слово: «Добей».

8 ноября 1993

РУССКОЕ МОРЕ

Нам опять уходить в наше Русское море
из неправой страны, что Отчизной была.
Нам опять поднимать в одиноком просторе
на грот-стенях несдавшиеся вымпела.

Нам опять вспоминать скалы русского Крыма,
Севастопольский рейд и Малахов курган.
Нам опять объяснять то, что необъяснимо,
и сквозь слезы глядеть в Мировой океан.

Вот когда мы пойдем наших прадедов горе.
Спорить с волею Божьей и мы не могли.
Раз в три четверти века по Русскому морю
из России уходят ее корабли.

ноябрь 1994

* * *

Не видно трехцветных знамен
над пыльными броневидами.

Здесь даже московский ОМОН
вернулся под красное знамя.

Попробуй сказать "господа" –
ответят не пулей, так матом.
Здесь снова в почете звезда,
как в майские дни в сорок пятом.

Не греческий, с перьями, герб
на танке своем обгорелом,
а с молотом скрещенный серп
рисуют механики мелом.

Политики – малой, большой –
в том нет. Но в бою отчего-то
рабоче-крестьянской душой
кривить никому не охота.

10 апреля 1995

ВЕРНУТЬСЯ И ЖИТЬ

А дома все по-старому,
а в жизни все по-новому.
Прошелся бы бульварами,
да сапоги с подковами.

Весна ручьями бесится,
птенцы пищат под крышами,
двадцать четыре месяца
не виданы, не слышаны.

И за телеантеннами
такая даль спокойная,
как будто бы Вселенная
вовек не зналась с войнами.

Брат учит математику,
но оглянись зачем-нибудь –
военного солдата
рисует на учебнике.

Мать пирогами занята,
кричит из кухни весело:
Вот рада будет Таня-то,
а то уж нос повесила!

Глядишь в окно широкое
на блещущие лужицы.
Опять вокруг да около
вспоминанья кружатся.

Брат переходит к физике,
сопит – не получается...
Гвардейская дивизия
с героями прощается.

Гремят салюты вечные,
полки идут колоннами.
А жизнь-то бесконечная,
а слезы-то соленые.

Мать возится с опарою,
брат – с прозой Астафьева.
И Танечка с гитарою
поет на фотографии.

1986

* * *

Отвоевали по два года.
В сердцах тоска. В глазах туман.
Пора домой. Послушай, Федор,
не улета́й на Ба́миан.

А вдруг напутала разведка,
а вдруг опять неточен план?
С тобою видимся мы редко.
Не улета́й на Ба́миан.

Ведь я же знаю все, что будет
на десять горьких лет вперед.
Тебя в России позабудет
твоя жена и твой народ.

И над заброшенной могилой,
чуть различимой сквозь бурьян,
просить я буду: «Федор, милый,
не улета́й на Ба́миан».

4–5 декабря 1995

* * *

Я вылетал из Кандагара
военно-транспортным бортом
с походной сумкой и гитарой
в пустом отсеке грузовом.

Движки ревели очумело

в крутом наборе высоты,
обшивка жалобно скрипела,
тряслись крепежные болты.

Нас обстреляли супостаты
крупнокалиберным свинцом,
что было видеть страшновато
к иллюминатору лицом.

Но самолет поднялся выше
цветистых пулеметных трасс.
Отныне нас никто не слышит,
никто с земли не видит нас.

Сверкают звезды, как живые,
дрожит на крыльях лунный свет.
И на вопросы роковые
простой почудился ответ.

Да, человечество не скоро
избавится от войн и зла.
Да, много горя в эти горы
моя держава принесла.

Оправдываться бесполезно.
И люди в будущем должны
парить на кораблях железных
среди всемирной тишины.

Но на вселенские орбиты
нам будет переход не прост:
там вновь огонь, метеориты,
распад планет, разрывы звезд!

8 декабря 1996

* * *

Я позабыл афганскую войну,
сухие взрывы мин, полет эрэсов,
свечение пуль сквозь дымные завесы,
госпиталей сухую тишину,

мельканье вертолетных лопастей,
дрожанье курсового пулемета,
фамилии бойцов девятой роты
и командиров штурмовых частей.

Я даже павших позабыл почти:
все реже с ними говорю ночами,
и днем не ощущаю за плечами

присутствия их в жизненном пути.

Но я не смог забыть Афганистан,
его непостижимую природу,
прозрачный воздух, призрачные воды,
полночных звезд блистающий туман.

А запах гор! Лишенный всех примет,
он полон содержанием бесконечным:
в нем Млечный путь пропитан снегом вечным,
в нем светится озон и пахнет свет.

Еще непостижимей города.
В них жизнь уста Всевышнего вдохнули.
Душа Земли находится в Кабуле,
в Джелалабад слетая иногда.

И почему-то я забыть не смог
людей, которых называл врагами;
они бесстрашно воевали с нами
в долинах и на скалах вдоль дорог.

Немногих удавалось взять живьем.
Почти никто не плакал на допросах.
Я помню их: худых, черноволосых,
озлобленных в отчаянье своем.

А те, кто не убит и не в плену,
обстреливали вновь бронекolonны, -
Но не больницы, не жилые зоны...

Я вспоминал афганскую войну
в Чечне. Там всё не так.

13 ноября 1996

ПОРА, СЛАВЯНЕ

Нас окружили в Бамиане.
Не оторваться от земли.
Комбат сказал: "Пора, славяне".
И мы поднялись и пошли.

И даже раненые встали,
и мертвые глядели вслед.
Мы окружение прорвали,
пройдя сквозь тот и этот свет.

Потом за павшими вернулись,
их положили на лафет
и на Россию оглянулись.

Пора, славяне. Смерти нет.

3 февраля 1996

* * *

Ослепли и приборы, и глаза,
снег рушится подорванной стеною.
Гвардейский полк прощается с войною
на перевале Рабати-Мирза.

Со скрежетом прицеп съезжает вбок
и падает, загородив дорогу.
Майор взбешен: «Я их убью, ей-богу!»
Кого убьет – об этом знает Бог.

Колонна снова жмет на тормоза,
и снова пробивается сквозь вьюгу.
И мы, слепцы, кричим «Живем!» друг другу
на перевале Рабати-Мирза...

9 января 1997

* * *

Боевую славу не унизили,
честно получали ордена...
5-я гвардейская дивизия,
первая афганская война.

Отслужили в битвах службу ратную,
от которой холодно в груди,
и прошли дорогою обратною
от Гиришка и до Торгунди.

Есть патроны, есть солярка в дизеле,
есть еще Отчизна за мостом...
...5-ю гвардейскую дивизию
похоронят в Кушке, под Крестом.

9 января 1997

* * *

Последний батальон уходит из Кабула,
на взлетной полосе гудит последний «Ил».
Дымами дизелей дорогу затянуло.
Прощай, Афганистан, который я любил.

Война была войной. Ну лучше и не хуже,
чем тысячи других в иные времена.
В пустынях жгла жарой, в горах губила стужей
и девять с лишним лет стреляла в нас она.

С лихвой оплачен долг интернациональный,
не посрамили мы Советскую страну.
И все же иногда оглянемся печально
на брошенный Кабул, предчувствуя вину.

Оставили друзей наедине с врагами,
оставили врагов с судьбой наедине.
Одни убьют других, потом погибнут сами
на недобитой нами горестной войне.

Последняя колонна от аэродрома
идет на Чарикар и дальше – на Джабаль.
Перемахнем Саланг и завтра будем дома.
Прощай, Афганистан, которого мне жаль.

20 января 1997

ПЕСНЯ

Посвящается 345-му парашютно-десантному полку, первым воевавшему
в Афганистане, расформированному в Абхазии 1 мая 1998 года.

Обнимись с друзьями боевыми,
фронтовик поймет фронтовика.
Мы навек остались рядовыми
345-го полка.

Как мы были молоды в Баграме!
Как свистели пули у виска!
Как сверкнуло пламя, словно знамя
345-го полка!

От Саланга и до Бамиана
лезли мы по тропам в облака
сквозь рассветы алые, как раны
345-го полка.

Павшие поймут однополчане:
мы сегодня выпили слегка, -
слишком много горя за плечами
345-го полка.

Ну а тех, кто предали нас ныне,
нас и все десантные войска, -
мы их не простим уже, во имя
345-го полка.

Воевали в дальних заграницах,
и в Москву придем наверняка –
как в освобожденную столицу
345-го полка!

1998

* * *

Громыхали дальние разрывы,
Между звезд мелькали трассера.
На войне по-своему красивы
Тихие такие вечера.

Ни о чем не думалось особо.
Пели песни, пили спирт-сырец,
Чтобы не печалиться, и чтобы
Войны прекратились, наконец.

Пасынки России, командиры
Минометных и десантных рот, -
Нам ли не грустить о судьбах мира,
Если мы воюем пятый год,

Если генералы обманули,
Если ненавидят нас в Кремле,
Если нам желанной стала пуля
Неприкосновенная в стволе...

РАЗГОВОР С АВТОМАТОМ

Я видел это под Гератом,
я слышал это на войне:
боец о чем-то с автоматом
беседовал наедине.

Он гладил ствол, цевье и ложе,
подствольник, магазин, затвор...
И разговор я слышал тоже,
но то был личный разговор.

Передавать его не вправе,
скажу лишь: говорил солдат
о маме, девушке, заставе,
стоящей на пути в Герат.

Порой, как будто без причины,
звенела дужка на ремне.
Так настоящие мужчины

беседуют наедине.

13 февраля 1998

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МАРШУ

В час утренний на литургию верных,
осенены невидимым крестом,
из русских далей, светлых и безмерных,
сходились мы в предхрамии пустом.

Ничьи рабы, опричь Руси и Бога,
украдкой матерями крещены,
сходились мы, избравшие дорогу
армейской службы, чести и войны.

Сквозная даль разрушенного храма
смущала и притягивала взгляд,
и мы смотрели пристально и прямо
в чернеющую раму царских врат.

И в мертвом алтаре свершилось чудо,
нежданное и радостное нам:
там вспыхнул свет, раздался глас оттуда
и повелел войти в оживший храм.

Сподобились молитвы и причастья
и пения о воинстве святом.
Но в горний миг, на высшем всплеске счастья
очнулись вновь в предхрамии пустом.

Божественной священной литургии
умолкли всеблаженные слова,
когда извне слышались другие:
"Сдан Ленинград. Потеряна Москва".

И грозно мы сходили по ступеням,
пилотки краснозвездные надев,
избрав навек из высших песнопений
военных маршей яростный распев.

23 октября 1998

* * *

Порабощая тело духу,
Избрав нетленные пути,
Сумей и смуту, и разруху
И Божий гнев перенести.

Век суетен, сердца жестоки,
Добро не побеждает зла.
Грядут кровавые уроки,
Бьют смертные колокола.

Пусть человеческая слава
Прельстила грешные сердца,
И ослабевшая Держава
Не чтит героя и творца, -

Но до окраины Вселенной
Лежит - его не зачеркнуть –
Твой офицерский, твой военный,
Твой жертвенный и грозный путь.

23–24 октября 1998

* * *

Была дорога наша долгой
и по войне, и по стране.
На русском кладбище за Волгой
стоим в нелегкой тишине.

Зима крута, снега глубоки.
И сквозь кресты едва видны
могилы павших на Востоке
во славу Северной страны.

В сторожке взяли мы лопаты
и снег в оградах разгребли.
Простите нас, друзья-солдаты,
что мы не сразу вас нашли, -
и там, в горах, и здесь, за Волгой...

И пьем мы молча и до дна
за тех, кому была недолгой
та наша первая война.

26–27 октября 1999

ЛЮБИМОЙ

Зачем же ты, глупая, плачешь во сне
и видишь нерусские лица?
Пока я воюю в далекой Чечне,
с тобой ничего не случится.

Бедя не придет в наш родной городок,
я это тебе обещаю.

За слезы твои, за измятый платок
я здесь никого не прощаю.

А после войны я друзей созову
и свадьбу с тобою сыграю
и целую жизнь на земле проживу.
За это я здесь умираю.

24 января 2000

* * *

Нет правды на войне, но нет ее и в мире.
Благодаря чужой бессмертной лире
сказал я эту фразу. Жаль, она
одним предложением правды лишена.

В войне нет правды, – эта мысль точнее:
ведь миру мир, конечно же, роднее.

И все же правда открывалась мне
не в мирных буднях, – чаще на войне.

Там всё острее: цвет, и вкус, и запах,
там сходятся в душе Восток и Запад,
любовь и ненависть, безверье и мечта...
И жизнь твоя прекрасна и проста
лишь на войне, перед зеркалом Смерти.

Не верите? Война идет. Проверьте.

28 февраля 2000

ГОСПОДАМ ОФИЦЕРАМ

Как служится вам, господа
в кокардах с орлами двуглавыми?
Не снится ли ночью Звезда,
сверкавшая отчею славою?

А этот трехцветный флажок,
нашитый на западном кителе,
вам душу еще не прожег,
октябрьских событий воители?

Ах, вы вне политики, ах,
вы не за буржуев, и прочее...
Но кровь, господа, на штыках
на ваших осталась - рабочая.

И вас награждают не зря
крестами на грудь и на кладбище
кремлевские ваши друзья,
нерусские ваши товарищи.

Но вам не дадут за труды,
какого б вы ни были звания,
ни ордена Красной Звезды,
ни ордена Красного Знамени.

28 февраля 2000

* * *

Пришел на могилу отца
над медленной русской рекою.
Дешевого выпил винца.
К плите прислонился щекою.

Услышал: "Ты жив ли, сынок?"
Подумал: почудилось, ветер.
И только в назначенный срок –
в бою, перед смертью – ответил.

6 марта 1996, 29 февраля 2000

ПЕСЕНКА КАПИТАНА

Вот и весь служебный рост:
на погонах восемь звезд,
а хожу все годы
в командирах взвода.

Я, меняя округа,
бил условного врага.
Но с годами чаще
враг был настоящий.

Я в Абхазии бывал,
в Приднестровье воевал,
я верхом на танке
ездил по Таганке.

Я стоял на рубеже,
спал со вшами в блиндаже,
я копал окопы
посреди Европы.

Мне давала ордена
удивленная страна:

умный, мол, ворует,
а дурак - воюет.

Я не робок и не слаб,
я отнюдь не против баб,
но с моим окладом
им меня не надо.

Я под вечер или в ночь
выпить водочки не прочь:
это тоже дело,
если нет обстрела.

В общем, я такой, как вы
из Тамбова ли, Москвы, -
разве что контужен
и никому не нужен...

4 мая 2000

ПОСЛЕДНЯЯ ТЕЛЬНЯШКА

Ведь это сердце, а не фляжка,
и не вода течет, а кровь.
Спасай, десантная тельняшка,
дай силы, женская любовь.

В чужой земле, в нерусском небе
война следила день за днем,
как на солдатском горьком хлебе
мы выживали под огнем.

Атаки, рейды и подрывы,
стук пулеметов и сердец.
Но мы с тобой остались живы,
но мы вернулись наконец.

А если снова станет тяжело,
и нас война догонит вновь, -
спасай, последняя тельняшка,
дай силы, первая любовь.

19 октября 2001

* * *

Есть Держава – придет и Державин.
Будут пушки – родится и Пушкин.
Ведь поэт – он Отечеством славен.
Ведь стихи – это вам не игрушки.

Ну а если разруха и беды,
иноземное иго, бессилье?
Есть стихи – значит, будут победы.
Есть поэт – значит, будет Россия.

23 января 2001

ПРОРОЧЕСТВО

Не столбовая дорога
к Богу ведет, а стезя.
"Храмов появится много,
молиться в них будет нельзя".

В давние грозные годы
жил преподобный отец,
принявший Богу в угоду
мученический венец.

Русь, потеряв государя,
впала в разор и позор,
переругались бояре,
голод нагрянул и мор.

По городам и селеньям –
стон от зари до зари.
Церкви пришли в запустенье,
вымерли монастыри.

Только разбойные шайки
рыскали на большаках,
только брели попрошайки
с плошками в черных руках.

Русь потонула во мраке.
И в довершение беды
в ней объявились поляки,
шведы, ливонцы, жидаы.

Деньги, еду и одежду –
всё отобрали они,
впрочем, оставив надежду
на покаянные дни.

Даже им чуждые храмы
снова они возвели,
чтобы в них каялись хамы
порабощенной земли.

Но на церковных порогах

плакал Лаврентий, грозя:
– Храмов появится много,
молиться в них будет нельзя!

13 июля 2001

ПОПРАВКА

Написано: умер в больнице.
И есть уточнение где:
во Франции, в городе Ницце,
в смиренности, в крайней нужде.

Не прячу печальной улыбки.
Георгий Иванов, прости
за эти чужие ошибки
в статье о последнем пути.

Я знаю: в доме престарелых,
не в Ницце, а возле нее,
ругая и красных и белых,
ты кончил свое житие,

Но если уж править всё это,
то лишь потому, извини,
что не умирают поэты,
а что погибают они.

15 июля 2001

* * *

Любовь сохранил, а страну не сберег.
Сижу в офицерской палатке.
На север, на запад, на юг, на восток –
езде фронтовые порядки.

Начопер готовит приказ полковой,
разведчик бренчит на гитаре,
качается лампочка над головой
в табачном слоистом угаре.

Фугасы в долинах, засады в горах,
измена в штабах и столице –
всё диким казалось на первых порах,
теперь это даже не снится.

А снится любовь, - мы ее сберегли
на этой войне и на прочих.
Жаль, не сохранили Советской земли,

как песню про черные очи.

30 июля 2001

ПИСЬМО

Прощай, ухожу умирать.
Нас мало уже в батальоне
и нечего нам выбирать
на горном расстрелянном склоне.

Увы, таковы времена,
что выбора нет и исхода,
что армия гибнуть должна
во имя чужого народа.

А коль времена таковы, -
я тоже погибну к рассвету.
Но сын пусть дойдет до Москвы,
ты мне отвечаешь за это.

30 июля 2001

* * *

В день последний двадцатого века,
подойдя ненароком к окну,
я увидел внизу человека –
не лицо, а фигуру одну.

Падал снег, заметая дорогу.
И за снежной завесою мне
показался знакомым немного
смутный образ, мелькнувший в окне.

Я к стеклу прислонился плотнее,
на мгновенье увидев опять
ту, кого мне на свете роднее
и любимей уже не сыскать.

И не мог я сказать домочадцам,
почему всё стою у окна.
Ведь она приходила прощаться,
приходила прощаться она.

30 июля 2001

* * *

Слетелись ворон к ворону,
черно от воронья.
А я смотрю в ту сторону,
где женщина моя.

Быть может, смерть обещана
мне в завтрашнем бою.
А я смотрю на женщину,
на женщину мою.

Не сладко и не солоно
питаюсь и живу.
А посмотрю в ту сторону,
и счастлив наяву.

– Вояка, деревенщина, –
себе я говорю.
А все-таки на женщину
любимую смотрю.

Пора вернуться ворону
в заморские края.
Я не отдам ту сторону,
где женщина моя.

21 февраля 2003

* * *

Ваши умные беседы
надоели донельзя.
Я в провинцию уеду.
До свидания, друзья.

Там спиваются попроще
однокашники мои.
Есть еще доля и рощи
и, простите, соловьи.

Есть река, пруды, озера,
чтобы с удочкой сидеть,
есть такие косогоры –
опрокинется медведь.

Есть заброшенные села,
городские пустыри,
обезлюдившие школы,
людные монастыри.

Есть голодные подруги:
накорми и пожалей.

Есть и я – стою в испуге
перед родиной своей.

5 июня 2003

В ШУЙСКОМ ГАРНИЗОНЕ

Две березы, кривая осина,
одуванчики и лопухи,
мелкий дождик... Не видно причины,
чтоб надеяться вновь на стихи.

Из окошка отцовской квартиры,
в гарнизоне, заросшем травой,
я не вижу вчерашнего мира,
и отец мой давно не живой.

Впрочем, за отсыревшим забором,
где осталась казарма одна,
в строевом исполнении хора
песня изредка все же слышна.

И в пустой офицерской столовой
иногда зажигается свет:
увольнение? поминки? И снова
гарнизона как будто бы нет.

Как и армии всей, и России...
Невеселые выйдут стихи –
о березах в окне, об осине,
о дожде, что кропит лопухи.

5 июня 2003

* * *

Первыми погибли, как ни странно,
тренеры мои и физруки, –
силачи, романтики, титаны,
далеко еще не старики.

С нами, непутевой детворою,
и уроки проводя и дни,
не считали жизнь они игрою,
в справедливость верили они.

Заросли травой стадионы,
проданы спортзалы под склады,
жизнь – и та как будто вне закона
в годы необъявленной беды.

Русские по крови и по духу,
славившие честные бои,
первыми не вынесли разруху
физруки и тренеры мои.

Погрустнели, запили, устали
связывать начала и концы.
Не согнулись – ведь они из стали,
а сломались верные бойцы.

11 июня 2003

* * *

Ветер в березах шумит.
Завтра кончается лето.
Мама за стенкою спит.
Долго еще до рассвета.

Осень, тоска, седина –
всё объяснимые вещи.
Будут еще времена
и огорченья похлеще.

Главное, мама жива,
сердце любить не устало,
и на березах листва
сызнова затрепетала.

Сколько я лет не слышал
эти тревожные звуки,
как я давно не вздыхал
ни от любви, ни от муки.

Я на балконе курю,
листья слетают на плечи.
Если я встречу зарю,
может, и женщину встречу.

Впрочем, зачем это мне, –
завтра кончается лето,
и на душе, как в Чечне,
снова не будет просвета.

30 августа 2003

МАТЕРИКИ

Зимою две тысячи третьего года

задумался я: для чего мне свобода,
телесное счастье, душевный покой? –
И я преисполнился русской тоской.

Ведь русское счастье и русское горе
всегда беспричинны – как небо и море,
как тучи меж солнцем и бездной морской
в пространстве, заполненном русской тоской.

В нем нет измерений и времени тоже,
оно до поры ни на что не похоже,
в нем лишь нерожденные материки
хранят очертания русской тоски.

14 декабря 2003

РУССКАЯ ПЕЧЬ

Печку в доме растоплю,
это дело не простое, –
но дрова не погублю,
по науке их построю.

Два полена подлинней
размещу торцами к устью.
Мировой уклад видней
из тверского захолустья.

А на два полена те
поперек четыре лягут.
На Руси по простоте
не боятся люди тягот.

А потом опять торцом
сверху положу поленья.
Не спасую пред лицом
делового поколенья.

Снизу щепок суну горсть,
чиркну спичкой – разгорится.
Я в тверской земле не гость,
здесь мой кров, моя столица.

Словно древняя ладья,
стопка дров зарделась яро,
и ее сдвигаю я
в глубь, чтоб не теряла жара.

Вот и все, разожжена
русская родная печка,
хоть на десять верст она

одинок, словно свечка, –

свечка Богу в небесах,
мертвым деревьям в лесах.

6 марта 2006

РАЗВЕДЧИК

В небе апрельском сером
лебедь свершает круг.
Вчера он летел на север,
сегодня летит на юг.

Тело его поджаро,
крылья его длинны,
глаза его, как радары,
к цели устремлены.

Видит он лед озерный,
талый прибрежный снег,
посередине черный
стоит на льду человек.

"Путник, рыбак, охотник?
С ружьем или без ружья?.."
Жалко, что время отнял
у лебедя сдуру я.

Его на маршруте с юга
нетерпеливо ждет
старый вожак, подруга
и остальной народ.

После разведки долгой
хрипло он им кричит:
- Есть еще жизнь за Волгой!
- Рыбак впереди торчит!

25 июня 2006

* * *

Вот уйду, а никто не заплачет.
Напишу, а никто не прочтет.
Впрочем, редко бывает иначе
с тем, кто в смутное время живет.

Надоело мне смутное время!
Или сам я ему надоел.

Угораздило ж вместе со всеми
оказаться – живым – не у дел.

Ну, садовый участок, квартира
(я ведь новую не получу),
честь семьи, отставного мундира –
эти хлопоты мне по плечу.

А в окно погляжу – где держава?
А пойду на войну – где полки?..
Вы не плачьте: имеете право.
Но прочтите две первых строки.

17 июля 2007

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

В том и беда, что нет примет
у русского народа,
особенностей ярких нет,
а может и породы.

Вот, скажем, немцы, - те точны,
певучи итальянцы,
французы вечно влюблены,
всегда горды испанцы.

Перечисляй хоть целый день,
у всех свои приметы.
А русским наплевать и лень
терять судьбу на это.

7 марта 2009

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Добывает на свалке объедки,
спит в тряпье у картонной стены
командир батальона разведки
величайшей на свете войны.

Дети предали, внуки забыли.
Может быть, он и сам виноват,
что не принял российские были
и нередко сбивался на мат.

Но зато у него есть щеночек
и друзья - городские бомжи,
он поет им про синий платочек,
он щенка обучает: "Служи!"

А еще телевизоров много
и приемников тоже полно –
все поломанные, слава Богу,
в них плевать не запрещено.

Он себя не считает пропащим,
бросил пить и не злится уже,
чтоб во времени ненастоящем
на случайном не пасть рубеже.

Окружили - на фронте и это
с батальоном бывало не раз.
Он дождется салютной ракеты
и отдаст на атаку приказ.

Нет преграды советским героям!
Вновь он молод, прекрасен, жесток.
И бегут за ним сомкнутым строем
городские бомжи и щенок.

19 марта 2009

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЛАГИДЗЕ

Что за странная надпись на гильзе
в осетинском сожженном селе:
"Минеральные воды Лагидзе" –
нацарапано, как на стекле.

Да, я помню проспект Руставели,
и Мтацминду над ним, и Куру,
и друзей, с кем в духанах шумели,
отпиваясь водой поутру –
этой самой водой минеральной
из бутылей, висящих вверх дном
в тихой лавочке, что на центральный
на проспект выходила окном.

А какие там были сиропы –
вкуса меда и цвета зари.
Это вам, господа, не Европа,
это Грузия, черт побери!

Разве мы не любили друг друга,
наших предков и наших святых,
разве не исполняли по кругу
строк и песен наивно простых?

Только странно близ новой границы,
под огнем опасаясь привстать,

"Минеральные воды Лагидзе"
на задымленной гильзе читать.

27 августа 2009

* * *

В подполе, на чердаке,
по стене наружной
бродит кто-то налегке
мне совсем не нужный.

То шуршит, а то трещит,
то грохочет жестью,
то пищит, что сообщит
важное известье.

На дворе холодный дождь,
чем и злы, похоже,
птичий вождь, мышиный вождь
и кошачий тоже.

Мышь крылечко прогрызет,
кот в дыру нагадит,
ворон клювом долбанет...
Русь и с ними сладит.

30 сентября 2010

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Виктор Верстаков. Традиция. Стихи. М., «Современник», 1975.
2. Виктор Верстаков. Сердца и звезды. Стихи. М., «Воениздат», 1978.
3. Виктор Верстаков. Инженерный батальон. Стихи. М., «Советский писатель», 1979.
4. Виктор Верстаков. Пылает город Кандагар. Стихи и песни. М., «Молодая гвардия», 1990.
5. Виктор Верстаков. Ради твоей неизвестной любви. Стихи и поэма. М., библиотека журнала «Советский воин», 1993.
6. Виктор Верстаков. Война и любовь. Стихи. М., «Рекламная библиотека поэзии», 1996.
7. Виктор Верстаков. Шуйская тетрадь. Стихи. Шуя, 2001.

Сергей Попов

РОДОМ С КРАСНОГО БАЛТИЙЦА

Родился в Москве 6 января 1953 года, в роддоме на Лиственничной аллее, близ Тимирязевской академии. Родители – Попов Виталий Афанасьевич и Попова (Кутукова) Анна Дмитриевна. Долго еще жизнь моя блуждала вокруг Тимирязевского парка – сначала Красный Балтиец, потом Дубки, потом улица Зои и Шуры Космодемьянских и наконец Лихоборы, где до сих пор проживают мама и отчим – Урванцев Евгений Германович, который доказательно объяснил мне, что можно и даже должно достойно сочетать физику и лирику. Родной мой отец трагически погиб в 1955 году, и перед смертью сочетал учебу в МАИ с плодотворной работой в скульпторских мастерских Веры Игнатьевны Мухиной и Екатерины Федоровны Белашовой, и своим примером заранее подтвердил доказательства отчима.

В 1970 году окончил учебу в знаменитой тогда физико-математической школе №2, которую почти всерьез называли «литературно-физкультурной с математическим уклоном», и поступил в МИФИ. С тех пор физика и лирика сочетаются в душе необъяснимым для меня образом.

Самые ранние поэтические опыты были одобрены руководителем «Клуба поэзии МИФИ» Эммой Владимировной Проценко и моими друзьями Александром Соколовым, Александром Шумским и Михаилом Кирилловым-Угрюмовым, а ранние научные – Игорем Ивановичем Поповым (мой однофамилец, ныне доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики Плехановской академии).

В составе шестого творческого объединения МИФИ выступал в Мурманске, Фрунзе, Оше, Волгограде, Магнитогорске, Ульяновске, Ленинграде, а с научными докладами – в Киеве, Таллине, Алма-Ате, Ташкенте, Новосибирске, Нижнем Новгороде.

Первые научные и поэтические публикации увидели свет в 80-годах прошлого века почти одновременно. В это время поступил в аспирантуру и активно участвовал в работе поэтического семинара при издательстве «Советский писатель» (руководители Евгений

Храмов и Эдуард Балашов). Семинар существует до сих пор, за что низкий поклон Эдуарду Владимировичу Балашову. «Литературная газета» обвинила мои стихи в «небопоклонстве», а «Московский комсомолец» в пошлости.

В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию и много странствовал по миру с докладами на научных конференциях (Германия, Куба, Канада, США, Финляндия, Швеция).

Как-то весело, быстро и неожиданно наступило страшное безвременье. Не стало ни докладов, ни путешествий, ни публикаций. «Специфика нашего времени не в том, что посредственность полагает себя незаурядной, а в том, что она провозглашает и утверждает свое право на пошлость, или, другими словами, утверждает пошлость как право» – писал Хосе Ортега-и-Гассет в 1930 году так, как будто он жил в сегодняшней России. Спасли стихи, для написания которых не требовалось ни сложного научного оборудования, ни дорожающих баз данных. В 2000 году увидела свет первая моя поэтическая книга «Кресты». В 2001 году был принят в Союз писателей России.

Путешествия вокруг Тимирязевского парка привели к рождению любимых дочерей – Марии и Веры. Но «покой и волю» обрел гораздо позже около другого знаменитого парка – Измайловского, где по сей день проживаю со своей супругой Галиной Михайловной.

В детстве мама, пораженная смертью мужа, много читала мне Лермонтова, реже Пушкина. Но особенно я запомнил Калевалу. Потом Блок и Заболоцкий. Еще большее влияние на мое мировоззрение оказали няня Анна Ивановна Широкова и бабушка Пелагея Ивановна Кутукова, приведшие меня на крещение во Всесвятскую церковь на Соколе. Люблю поэтический экспрессионизм начала XX века, но еще больше люблю его продолжение в творчестве художника Анатолия Тимофеевича Зверева и поэта Анатолия Филипповича Чикова.

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Новоиерусалимской электрички не дождусь,
Я на дедовской поеду, покачу в Святую Русь!
Говорящие названья живы, что ни говори –
Мне от Красного Балтийца захотелось в Снегири.

На высокий берег Истры
И на ласточкины гнёзда,
Пролетающие быстро,

Посмотреть, пока не поздно.

На попутных электричках путь времён преодолим,
А конечная, надеюсь, – Новый Иерусалим.

ИОРДАН

Иордан – река зелёная,
Несмотря на весь почёт,
В море самое солёное
Безалаберно течёт.

В море под названием Мёртвое,
Вся от Первого Лица,
Как в людское сердце чёрствое,
Льётся, льётся без конца.

Так бежит река весёлая,
Нам с тобой благоволя,
В море самое тяжёлое
Через минные поля.

ЛАЗАРЬ МУРМАНСКИЙ

Константинопольский монах
В заолонецкие пустыни
Идёт на скользких костылях
По отрывающейся льдине.

Отец, тебе уже сто лет –
И где оно, успокоенье?!
Метель затмила белый свет,
Иль на тебя нашло затмение?

Старик, куда тебя несёт?
По Свири в гости к Саваофу? –
На русский бесконечный лёд,
На соловецкую Голгофу!

Монастыри да зоны
На русских северах,
Достаточно озона
В бараках и скитах.

В Москве в бутылках душно,
Скорей бы на этап!
Там более воздушно,

Не так мешает храп.

А сердцу так же больно
Считать бродяжий срок –
Всё ж лучше добровольно
Спешить туда, где Бог.

СЕВЕР

Полюбив молчание седое,
Кажется, оттаяла душа.
Каждый вечер ходим за водою,
На ладони изредка дыша.

Человек на Севере немеет.
Смотрит на горящие дрова
Так, как будто в печке пламенеют
Все пустопорожние слова.

АДДИС-АБЕБА

Открываешь памятники Пушкину,
Милая моя Аддис-Абеба...
Как какое-то село Ватрушкино,
Где всё время не хватает хлеба.

Пожалел бы я Аддис-Абебу,
Да Россию стоит пожалеть –
Хоть у нас сейчас побольше хлеба,
Но в душе нецарственная медь.

РАЙ

Не знаю, есть ли женщины в раю.
Но точно – в рай воротятся все звери, –
Я поцелую мудрую змею
И не замечу женщины потерю.

Мне будут птицы петь, слоны трубить,
И будут львы по-царски кувыркаться –
Служенье их нельзя не полюбить,
И буду я по-детски наслаждаться.

Но постепенно женщина придёт
И приведёт детей и внуков наших –
Звериный заволнуется народ
И побежит встречать своих домашних.

ТРИ ПТИЦЫ

Голубь не такая птица,
Чтобы по трое летать.
Как на ветке разместится
Трисвятая благодать?

Три спокойных синих птицы
Сели на мою рябину.
Голуби, а не синицы,
Мне представили картину...

Может, это от Рублёва
Неземной ультрамарин,
Может быть, после Покрова
У меня родится сын...

МАРИИНО СТОЯНИЕ

Мариино Стояние
Сегодня на вечерне.
Печально состояние
Сыновне и дочерне.
То, что сегодня явлено,
Не утереть платком –
Канон Андрея Критского
Читают целиком.

СОРОК МУЧЕНИКОВ

От Севастии до Севастополя
Сорок воинов по морю протопали.
Что Отступник им Юлиан,
А тем более Гудериан?!

ЁЛКА

Яблочко стеклянное.
Ёлка новогодняя.
Сила окаянная,
Сила преисподняя
В нас с тобой прицелилась
Пушками да танками,
А метель метелилась
Валенками, санками.
Ёлка в Лианозове.
Нам всего три годика.
Шуба дедморозова –
Маскхалат Угодника.

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

На Родительскую Субботу
Полагается помянуть...
А особенно ту пехоту,
Что внезапно отправилась в путь,
Неотпетую, непрощённую,
В окружении красных снегов,
А особенно некрещёную –
Всю, что нас спасла от врагов.

МОЛИТВА ВАСИЛИЯ КЛОЧКОВА

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа...
Огонь!

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

В Москве, на площади Киевского вокзала
открыт монумент Похищение Европы

Из газет

Когда-нибудь фантазии закончатся,
И перестанем мы ходить в кино,
И нас опять будёновская конница
В прорубленное понесёт окно.

Нельзя! Нельзя освобождать Европу!
Европу полагается украсть...
Мычи, как бык! Плыви среди потопа,
Звериную разыгрывая страсть...

Кому нужна ты, голая старуха,
На привокзальной площади Москвы?
Клянись! Клянись огнём Святого Духа
Через противотанковые рвы!

А впрочем, ладно, не клянись, не надо...
Не жди любовной, розовой зари,
Когда в Париж на площадь Сталинграда
Понурые придут богатыри.

МУЗЫКА

Вагнер, Вагнер, что ты понял?
Пил душевное вино...

Аполлон или полоний –
Музыканту все равно!

Вагнер, Вагнер, музыканты
Мундштуки вставляют в рот,
Покоряются таланты
Волшебству бесстыжих нот.

Вагнер понял всё как надо,
Нибелунгов прочитав,
Пала лишь у Сталинграда
Высота его октав.

МОГИЛА ГЁТЕ

1

Солдатик в фирменной шинели
(Такие шьют для заграницы),
Забыв про девок на панели,
Пришёл зачем-то помолиться.

А позади великий Веймар,
Его немецкие заботы
И два Кранаха – символ веры...
А под ногами – Шиллер с Гёте.
А тут на зависть протестантам
Какой-то ярославский стиль.
Священник, не читав вагантов,
Российский деревенский штиль
Рождает, думая по-русски,
И по-моравски говорит.
Солдатик наш в шинели узкой,
Как щен растерянный, стоит.

Зачем пришёл ты, русский воин,
Иль сами ноги принесли,
Какой бедой обеспокоен,
Что ждёшь от Неба и Земли?
России больше, чем в России,
На месте том, где ты стоишь.
В самой России силы злые
Не могут поделить барыш.
Начальство бедное ворует,
Прошла холодная война...
А хор поёт, а хор волнует...
Ну в чём, солдат, твоя вина?!
Предатели ведь командиры,
И ты стоишь почти один,
В берлинах пачкают мундиры
Носители таких седин!

Но в силу парадоксов диких,
В честь русских православных жён,
Над прахом веймарцев великих
Был этот храм сооружён.
Так стой, солдат, молитву слушай
На нашем древнем языке,
Твою измученную душу
Господь поднимет из пике.

2

Царевна. Умница. Россия.
Великий Гёте шёл к тебе,
Хотя ты вовсе не просила
Строкой участвовать в судьбе.
Ну, просто русская душа
Смогла понять германский слог,
И тем была ты хороша.
В тебя влюбился, видит Бог,
Такой отчаянный мужчина,
И протестантская трясина
Цветами правды расцвела.
Как счастлив я, что ты была!
Как счастлив каждый павший воин,
Что есть невесты на Земле,
Которых руки после боен
Застынут вечно на челе.

Твой муж, немецкий латный рыцарь,
Тебя с поэтом положил
И каждый день, как жалкий мытарь,
Ко гробу мрачно приходил.
Но догадался немец старый:
Есть православные кресты...
Есть на Земле совсем не бравый
Покой... покой, где мы чисты.

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

Неподвижны корни праведных
В окруженье сорняков.
Как же ветер слов неправильных
Разделил учеников?

Нам даровано молчание
На пороге у Войны,
Ну а цезарю – венчание –
Удержание страны.

КАПЛИ

Все цвета на Земле потемнели,
В океанах утопли лучи,
Только мокрые русские ели
Освещали дорогу в ночи.

Вот коснулись простейшие капли
Бесконечной и близкой Луны,
Вот и люди, что зреньем ослабли,
Вдруг прозрели во время Войны.

Вот и нам, в окровавленных тряпках
По грязи проползавшим вперед,
Отразившись в бесчисленных каплях,
Показался единым народ.

МИША

Напиши за Афган –
Попросил меня Миша.
Но в Афгане я не был
И как напишу я?...
Помню только косую порошу
В переулке московском,
Кажется Банном,
Где на нож посадили приятеля Гошу
Нет, не «духи», не урки,
А так, со двора дружбоганы...
Что сказать про Россию –
Она перед Богом.
Дружбаны эти где-то в году девяностом
На машине разбились. Всмятку.
Видишь, как просто.
Да. Но о чем я?
Просил меня Миша
Написать...
О таком нам известном далеком Афгане.
Миша,
Осторожнее нужно
Нам думать о странах далеких –
Ведь мы не цыгане...
Слава русским солдатам, не дрогнувшим в брани!

ИЗ ГОСПИТАЛЯ

Враки, что бомбили Гори
Ночью русские войска –
Это сам Святой Егорий
Громы двинул свысока!

Раз в стране Тамары, Нины

Завелися подлецы,
Стали грозны и едины
Православные отцы.

Ни один заморский пастырь
Не почувствовал чудес –
Мой бактерицидный пластырь
Оторвал их от небес!

СКАЗКА-ВОЙНА

В. С.

До чего же красивы колонны,
Уходящие в огненный бой...
Истребителей с песней разгоны,
Дирижаблей веселый конвой.

Не спеша подойдут кирасиры –
Кони, как молодые слоны!
До чего же все люди красивы
В предвкушении страшной войны.

Вот идут пулеметные роты,
Начинается сказка-война.
Впереди у ковров-самолетов
Ночь, как дерево, сожжена.

* * *

Да, мы Христа не распинали.
Царя вот только расстреляли.

За то Господь послал войну.
Да кряду две, а не одну.

Погибло много миллионов.
Каких теперь искать законов?

Кого винить – жидов, попов,
Кадетов иль большевиков?

Петра, германскую разведку,
Америку-марионетку?

Татар, иезуитов, Грозного,
А может, Павлика Морозова?

Хрущева, Горбачева, Путина
Или Григория Распутина?

Сказать могу лишь точно, брат, –
Один Христос не виноват.

* * *

Веди, веди меня, отец,
На площадь, на парад,
Веди, веди меня, отец,
В первопрестольный град!

Веди, веди меня, отец,
Рыбачить на Оку,
Подбрасывай меня, отец,
От пола к потолку!

Веди, веди меня, отец,
На палубу, в окоп,
Веди, веди меня, отец,
В благопристойный гроб!

Я помяну тебя, отец.
И ты нас поминай.
Ты помяни меня, отец,
И руку мне подай!

Веди, веди меня, отец,
Рыбачить на Оку,
Подбрасывай меня, отец,
От пола к потолку!

ДОЧКЕ МАШЕ

Не спрашивайте, да иль нет –
Любое глупое растенье
Так тонко чувствует, где свет,
А у меня сейчас цветенье.

Чтобы другую жизнь начать,
Нужна бессмыслица такая,
Что остаётся лишь молчать,
Своим желаньям потакая.

Тот, кто задумался, – пропал!
Вот потолок любой культуры.
Но есть в поэзии запал
Забраться выше верхотуры!

О, дети грозные мои!
Не поминайте меня лихом,

Я сжёг сомнения свои
В цветенье дерева великом.

И так, не говоря «прости»,
От дел своих не торжествуя,
Я продолжаю вверх расти,
Уже почти не существуя.

* * *

Дачный домик, ангелок венчальный,
Сватья с репутацией печальной...
Будничная скатерть на столе,
Огненные блики на стекле.
Стук колес обрушится слабея.
Ты прикусишь медленно губу.
До чего ж опасная затея –
Узнавать во всем свою судьбу!
Колыханье бледной занавески,
Звуки электричек за окном,
Двух теней обугленные фрески
Превращают в сцену этот дом,
Где, как в пьесе, видишь от причины
К следствию протянутую связь.
В твоей жизни не было мужчины,
Оттого ты смотришь не боясь.
Что с тобой? Огни по стенам скачут,
Снова налетает стук колес.
Ты сказала: «От любви не плачут»,
Презирая театральность слез.
Только зря себя ты угнетаешь
Многодумной волею своей,
От того, что ты здесь испытываешь,
Все равно заплачет соловей.

* * *

Собаки лают, как в деревне,
А это все же городок...
Я – о лягушке, о царевне,
А вы – про сломанный замок,
Про те убийства у сараев,
Про то, что там всегда темно,
Про то, что русских караваев
Никто не пробывал давно.

Вас понимать – уже привычка,
В душе обидная до слез.
Уходит поздно электричка...
Скажите вслед: «Спаси, Христос!»

А больше ничего не нужно.
Неужто же спокойней спать,
К чужой судьбе прижав натужно
Всезнания черную печать?

СВЕЖЕВЫСТИРАННЫЙ МУЖЧИНА

Свежевыстиранный мужчина –
Сильно пьющий и много курящий...
Без разбора стирает машина,
Но мужчина-то был настоящий.

Он висит на балконной верёвке.
Не пугайтесь!
Он не повесился.
Он, недавно ходящий по бровке,
Стал спокойным, как полотенце,
Через сердце
Своё перевесился.

И прищепками сверху прищепленный –
Это, в общем, не так уж и больно, –
Он висит, простынями облепленный,
Чистый, выживший и довольный.

РАЗВОД

Выколю «Коля»
На левой руке,
Радуясь боли,
Выйду к реке.
Днище у лодки
Пробью топором,
Сяду-присяду
На днище сыром.
Звезды, как слезы,
Падать начнут.
Баба-стервоза
Подала в суд.
Дочки пусть думают –
Я утонул...
Лодку дырявую
В реку пихнул.
Лодка порожняя
Тонет в реке.
Лихо топорик
Сверкает в руке.

* * *

Рушат коптевские бараки...
Ух, сильна ты, баба копра!
Лают коптевские собаки.
Понаехали трактора...

А у Красного у Балтийца
Строят сталинские дома.
Здесь же каждый десятый – убийца,
Но какая у нас зима!

Я качусь с бесконечной горки...
В Тимирязевском парке народ.
Я сижу у отца на закорках –
Вижу Екатерининский грот.

Там Нечаев убил студента
Иванова за просто так.
Значит русским интеллигентам
Захотелось *самим* в барак.

Рушат коптевские бараки!
Ух, сильна ты, баба копра!
Лают коптевские собаки.
Понаехали трактора...

* * *

Только матери, только Богу,
Только родине древней моей
Рассказал бы, склонясь у порога,
О душе необычной твоей.

Только тополю, только кленам,
Только всем остальным деревьям
Рассказал бы, как стал влюбленным,
В это чудо не веря сам.

Только берегу, только ивам
Только городу Киржачу
Рассказал бы, как стал счастливым,
Ну, а лучше, как вы помолчу.

ПЕРВАЯ УЧЕНИЦА

Хотелось света больше, чем обеда,
Хотелось лучезарности, когда
От громкого названия «Победа»
Осталось окончание «беда».

В костре горели доски... и страницы,
Чтобы была ещё контрастней мгла,
И на тетрадь примерной ученицы
Спускалась невесомая зола.

Любой ценой, но захотелось света!
Чтобы не тело, чтобы душу грел!
И ученица прочитала Фета –
Там... что-то... где-то... кто-то там сгорел.

«Там человек сгорел!» Вот, дорогая, -
Золой прикрыто слово «ч е л о в е к»!
Она в огонь смотрела не мигая,
Он ей напомнил солнечный Артек.

СИМФОНИЯ ВЛАСТЕЙ

Симфония властей –
Несбывшаяся песня,
То царство, то священство восстаёт...
И вот мы без затей
Живём на Красной Пресне,
На Белой Пресне жить
Господь нам не даёт.

МАТРОС

Матрос пришёл,
Матрос сказал:
«Пойдём со мной, сынок»,
И долго, долго дребезжал
В груди моей звонок.

Матрос пришёл,
Матрос сказал:
«Снимай нательный крест –
Священник пьёт, и царь издал
Безбожный манифест!»

Матрос пришёл,
Матрос сказал:
«Я Церковь наклоню
И всех торговцев и менял
Оттуда изгоню!»

Лежит матрос в земле сырой,
Расстрелянный ЧК,
Он был поэт, он был герой,
Помешанный слегка.

Но до сих пор в груди дрожит
Встревоженный звонок,
И кто-то снова говорит:
«Пойдём со мной, сынок».

Брось в меня рябины кисть –
Я поверю, я поверю,
Что проходит наша жизнь
Вовсе не по Галилею.

В то, что солнце – лишь фонарь.
Крепко на небе прикручен.
А электрик ещё встарь
Лампочки менять обучен.

Нету солнца, нет тепла,
Так согреемся любовью...
Как ты правильно легла
На руку и к изголовью.

МАМА

Мать моя железная,
Мама золотая,
Отчего ты нежная
У меня такая?
Отчего ты голову
Часто так теряешь?
Ты ведь, мама, смолоду
Жизнь с изнанки знаешь.

Уж бы я озлобился
На твоём бы месте,
Чугуну сподобился
С победитом вместе.
Иль в глубины б сгинул я
Рыбой-пеленгас...
Плачешь, моя милая,
Слыша мой рассказ...
Ты ведь, мама, рада,
И слеза к лицу...
«Мне, сынок, не надо...
Напиши отцу».

ОТЕЦ

Я сохраню твою фамилию,
Мой незадачливый отец,
Я на гербе отмою лилию
И наш осьмиконечный крест.

Но как же трудно помолиться
За душу близкую твою –
А вдруг нам встретиться случится
В аду самом, в самом раю?

СПЕЦНАЗ

К Валааму в гости,
В капища и рощи
Направляли старцы
Тех, кто был попроще.
На безумный остров
Перейдут по льду,
Местным калиострам
Принесут еду.
Тех, кто в рощах бредят,
Духом окормят,
Тихо обезвредят
Удалых ребят.

ГОЛУБКА

Где тебя, дорогая, носило...
Посмотри, как святая ладонь
И голубку уже отпустила,
Побросала все свитки в огонь.
Посмотри, как великие мысли
Белый дым понесет к облакам,
Видишь, буквы на тучах повисли
И всё плачут и плачут по нам.
А была ли любовь до потопа
Или только один смертный грех?
Посмотри, утонула Европа
В огоньках бесконечных утех.
Так лети ж одинокая птица,
Разыщи же оливу в дали,
Дай мне ветку, кусок черепицы,
Дай мне что-нибудь от земли!

Ну а если она не вернется,
Мудрый Ной будет этому рад –
Значит, что-то еще остается
Кроме нашей горы Арарат.

КОРОЛЁВ

Как представить нам мир невидимый,
Соразмерить с какими чертами,
Что там делается на Проскомидии
За закрытыми Воротами?

Пусть останется тайное тайным.
Нужно быть баснословным поэтом,
Чтобы всё, что казалось летальным
Вдруг летающим стало предметом.

НОВАЯ ПУСТЫНЬ

Бегство в пустыню – удел космонавта.
Келью свою он несёт в пустоте.
Будет молиться сегодня и завтра,
Будет учиться смотреть в темноте.

Столпники, старцы, веригоносцы
Не повидали пустыни такой...
Вот и решили великороссы
Сердцем осваивать космос пустой.

ВЕРНУЛСЯ

Здравствуйте, кончики пальцев.
Здравствуйте, губы солёные...
Вновь на отпетых скитальцев
Смотрят глаза удивлённые.
Полные слёз и доверия
Смотрят на морехода.
Нет, не открыл он Америки,
Просто пришёл из похода.

ИЕРЕМИЯ

Напророчил пророк и заплакал.
Всё сбылось – развалилась страна.
Чем смотреть на кровавую плаху,
Лучше было б прослыть за вруна!

И всеильное слово пророка,
И последний крылатый трубач –
Всё для нас, для слепых... а для Бога –
Тот простой человеческий плач.

ВЯЛОТЕКУЩАЯ

Вялая, но текучая,
Как у Ильи Ильича...
Дерево. Ива плакучая,
Призванная скучать.

Примет поклон этот плавная
Волга или Ока –
Тихая, православная,
Думающая река.

ЮРА

А понедельник – день не мой.
Я повстречался с бомжем Юрой
У нас на Парковой седьмой
И, собственной почти что шкурой
Его накрыв, привёл домой.

А Юра – страшный западэнец –
Ещё сказал в конце концов,
Что отомстит, как древний немец,
За поражение отцов.

И мы кирнули – я и нищий...
За жизнь. За львовское кладбище.

СНЕГИРИ

На развалинах Империи
Сядет дудочник-еврей,
Песню грустную затянет –
Песню русских лагерей.

Отчего нам так неймётся
Всё крушить и сокрушать,
Отчего нам так поётся
На развалинах опять.

Отчего скупое слово
Молчаливых снегирей
Соловьизма удалого
И понятней, и добрей.

И духовное дыханье,
Иудейский этот стон
С малороссами коханье
Вызывает в нас сквозь сон.

Из тумана заводского

Подымается Москва –
Летом, где-то полседьмого
Зажигается глава

У Великого Ивана
Надо тьмой других столиц, –
Не сыграть на фортепьяно
Песню русских зимних птиц.

ДОЧКЕ ВЕРЕ

Вера, моя Вера,
Кончилось кино...
Левого эсера
Хлопнули давно.
Избы все сгорели,
Все ковбои спят,
И висит на ели
Чей-то автомат.

Вера, моя Вера,
Дай мне силы жить,
Снова чувство меры
В сердце мне вложи.

ДОМ

А. Ш.

Вот мой дом. И я в нём царь.
Слава Богу, нету мажордома!
Повара, кормилица и псарь
Отданы за так царю другому.

Есть царица. Подданные есть.
В этих людях я души не чаю.
Тот, кто не работает, – не ест?
Этого почти не замечаю.

Нет коней и свиты у меня,
Только неподкупная родня.

ИОАННИТЫ

Скажи, а Пруссия – Россия?
Литва – Россия или нет?
К эстонцам, Польше, Византии
У нас уже претензий нет.

Скажи, а есть иоанниты?

Сначала рыжие, как я,
А в девять рыцаря-бандита
Отец посадит на коня.

Они ведь золота не носят,
Стальные перстни и кресты
Удары страшные наносят
С неимоверной высоты.

А Александр еще был молод...
Как победил их на Неве?
Шлем немца, надвое расколот,
Валялся в ледяной траве.

Потомок короля Артура
Лежал у православных ног,
И арбалетную «бандуру»
Из-за спины достать не мог.

А после принял он присягу
На верность Родине моей,
Мальтийский крест содрал со стяга
И бросил в гушу тополей.

И в белорусские болота
Пошел с татарами вперед,
За ним вставала дружно рота,
А под Берлином – только взвод.

А внук его позавчера
В Чечню поехал умирать,
В Лубянском храме до утра
Молилась рыцарская рать.

Но страх мелькнет в моем зрачке,
Сначала будет невдомек,
Когда в нью-йоркском кабаке
Мне сицилийский паренек,
Сдавая карты, на руке
Стальной покажет перстенок.

ЕРМАК

Когда Иван Четвёртый Грозный
Стал ханом Золотой Орды,
Почуял Запад знак серьёзный,
Неотвратимый знак беды.
Разрушен Новгород жестоко,
Так ни один монгол не жёг,
Казани с ходу выбив око,
Всё больше любит царь Восток.

Уже могучая Литва,
Со страхом справившись едва,
Ему послов с дарами шлёт,
Уже Ермак готов в поход
Куда-то в сторону Пекина,
И кровь Бату и Темучина
Покоя русским не даёт,
И русский крест в тайге встаёт
На радость старицам раскола,
И войско на Сибирь ведёт
Мужик с названьем ледокола.

СТАРОВЕРЫ

Видно, уж нам не пробиться,
Ветер и снегопад
Косят по нашим лицам
И соблазняют назад.

Ветер и снег. В Сибири
Редко бывает так.
По староверской Псалтири
Выучится и дурак.

Просеки голубые
И золотая звезда
Скрылись в белесой пыли,
Может быть, навсегда.

Сколько прошло? Неделя?
Кто нам с тобой помог?
Только кресты на теле
Да православный Бог.

ЛЕВ

Господи, куда его ведешь,
Трезвого, огромного, седого –
В темноте он, кажется, похож
На себя, гусара молодого.

Господи, Анафема опять!
Вся семья большая сбита с толку,
Но ему сейчас на всех плевать,
Этому вегетарьянцу-волку.

Он один по полю побредет,
Написавший столько мудрых книжек,
Даже смертью странной не соврет

И смертельной раны не залижет.

ПАМЯТНИК

А в мыслях неучастие во лжи,
А на душе безмерная печаль...
Попробуй, слово тихое скажи,
Попробуй, соскреби с лица эмаль.

Окаменею, но не упаду!
Я обработан новым веществом.
Вот Аполлон, белеющий в саду,
Вот Дискобол, вот Девушка с веслом.

Я памятник. Но не себе, а им.
Сегодняшний фальшивый Древний Грек.
Я принял позу и намазал грим,
Но что-то выдает: здесь человек.

Обман покоя, твердости обман ...
Здесь человек – под камнем бьется плоть.
И чуткий к фальши статуи хулиган
Пытается мне руки отколоть.

* * *

Там, где город этот бледный
Расколосся на куски,
Там, где всадник этот медный
Зеленеет от тоски,
Где кончается Россия,
Где холодные моря,
Не крестила Византия
Православного царя.
Там, где шпиль Адмиралтейства
Веселей, чем свет лампад,
Ни шедевров, ни злодейства
Не творили наугад.
Есть величие и слава,
Только хочется любви –
Реставрирует держава
Церковь Спаса на Крови.

ПЕСНЯ

Русские пьют за победу,
В каком, я не знаю, году –
То ль из Берлина я еду,

Толь из-под Кушки иду.

Русские пьют за удачу,
Я ж почему-то молчу –
То ли от счастья я плачу,
То ли от боли кричу.

Русские пьют за Россию,
И я подымаю стакан...
«Господи Боже, спаси их» –
Безрукий сказал ветеран.

Русские пьют за победу,
В каком, я не знаю, году –
То ль из Берлина я еду,
Толь из-под Кушки иду.

* * *

Как хорошо писать стихи, старея,
Не мучаясь и никого не осуждая...
Наверно, Бунин "Тёмные аллеи"
Писал во сне, как липа увядая.

Но юноша, вставляя слово в строку,
Переживает тоже не случайно,
Ведь нравится Всевидящему Оку
Всё то, что на земле необычайно.

Как хорошо писать стихи, старея,
Смотреть на внуков и молиться Богу,
Благодарить апостола Андрея
За то, что он нашёл к Днепру дорогу.

В МУЗЕЕ

Был освещенный коридор
Уставлен греческой скульптурой,
И палец мраморный в упор
Меня расстреливал культурой,
Но, отступая, я нарвался
На настоящий пулемет –
В соседнем зале выставялся
Разрушенный немецкий дзот.

БАРБАРОССА

Безумный Фридрих Барбаросса
Опять войной идет на Рим,

Как от огромной папиросы,
Дым черный тянется за ним.
Другое дело, Мартин Лютер:
Достал какой-то новый текст,
И до сих пор Землею крутит
Его руки волшебный жест.
Сгоревший на костре Джордано
Не мог так Землю раскрутить,
Чтоб правоверным христианам
Настолько мысли замутить.
Лежат католики в окопах,
Горит ирландская трава,
А на другом конце Европы
Вздыхает Третий Рим – Москва.

БЕЛОБРЫСАЯ ТАТАРКА

Люблю глаза немного узкие...

В. Хлебников

Белобрысая татарка,
В час, когда погибла Русь,
Стало весело и жарко,
Стало радостно, клянусь!

Стала конница Мамая
Русских девок разбирать,
То и дело их бросая,
На вселенскую кровать.

Где рождались народы,
Где родились ты и я,
По велению природы
Проступила Азия.

Я люблю в себе монгола,
Я в тебе его люблю –
Скандинавского помола
Злак, стремящийся к нулю.

Этих глаз немного узких
Взгляды брата и сестры –
Наступленье храмов русских
На монгольские костры!

КИТАЙ

А круг замкнулся на Китае,
А там такая тишина,

По каждой улочке Шанхая
Идет великая стена.
На каждом рисовом болоте
Стоят куски огромных стен,
Вы долго здесь не проживете,
Всю душу не отдав взамен.
И не признавший их порядки,
Великий не узнав закон,
С китайцами играет в прятки
Очередной наполеон.
И если воля Чингисхана
Могла держать Китай в плену,
Не может новая сутана
Накрыть коварную страну.
Монгол споткнулся о китайца,
Китаец спас Святую Русь.
Но с ним попробуй побратайся,
Китайцев нет. Я их боюсь.
И на окраинах Тибета
Сел обессиленный монгол,
Конец пути-дороги нету,
Хоть полстраны сажай на кол.
Лишь гималайский горный сахар...
Китайца победить нельзя.
Не знают зависти и страха
Его покорные глаза.

ВОСТОК

Сливая музыку и слово
В испепеляющий расплав,
Восток из олова такого
Штампует цезарей держав.
И над землей взлетает бита,
Идут угрюмые войска,
Рождается Бхагаватгита
Из крови, снега и песка.
Арджуны лошадиный глаз,
Его недреманное око,
Поднявшись из-за гор Востока,
Тридцатый век глядит на нас.
А тут веселый человекник,
Как будто бы, живет без жертв.
Растим компьютерный репейник,
Земле порвав центральный нерв.
И ты, забыв, что ты солдат,
И впав в бессовестное детство,
Все крутишь голову назад,
Как трус, пытаясь оглядеться.
А перед нами Гиндукуш,
Стихи Руми, стихи Бабура...

Такая знойная культура,
Такой великолепный куш!

ОРДА

Когда остатки нашей крови
Разлил Тимур по тем краям,
Где, чем младенец чернобровей,
Тем ближе он к Большим Царям.
Когда монгольская Орда
Дошла до Индии горячей,
Я ощутил восторг щенячий!
Раскинув текст невода,
Бабур не тронул Палестины,
И византийские кресты
На этот раз не гнули спины,
Глядясь в узбекские щиты.
Но посмотри на Тадж-Махал,
Джехан хорошим был поэтом,
Под самаркандским минаретом
Джехан Хайяма прочитал.
И встало солнце золотистой,
Чем одуванчики весной.
А в европейской мгле лесистой
Великий Карл народ лесной
Крестил мечом
И звал Ирину,
И создал страшную машину,
Закончившуюся кумачом.

Сейчас в Монголии луна
И сифилис, и полушубки,
А вся московская шпана
В берлинах делает покупки.
А у подножья Тадж-Махала
Седой индус, худой, как кость,
Дудит, смиряя кобры злость,
Для иноземного нахала.
А где-то около Казани
Наследник маленький сидит
И чернобровыми глазами
Как лев, на Персию глядит.

А электричка шла до Одинцова,
И вспомнил я про графа Воронцова:
Какой в Алушке у него дворец,
Я вспомнил сатанинский крик павлиний...
Стекло вагона разукрасил иней

Пересечением стрелок и сердец.
Любовь, прошедшую на Южном берегу,
Я и сегодня в мыслях берегу.
И снова, как старательный анатом,
Перебираю чувства каждый атом,
Обрывки непонятных сердцу фраз...
Не думал гениальный ловелас,
Жену у графа тайно отбирая,
Что, может быть, навек лишился рая.
Он так безумно близости хотел,
Что не смогла вина коснуться тел,
Укрывшихся в приморской теплой мгле.
Вина сейчас явилась на земле,
Как молния, ударив в электричку,
И стало страшно, страшно за себя.
Когда ж оставляю я проклятую привычку
Любить не думая и думать не любя?

НА ПЕРЕПРАВЕ

Теперь на все гляжу восторженно
(А раньше не было такого) –
На баб, торгующих мороженым,
На нищих, на городского.

Штрафующий меня гаишник
Не разделяет мой восторг,
В его глазах так много лишних
Людей, по коим плачет морг.

Старушка, божий одуванчик,
Его обходит стороной,
А старый бомж, прикрыв стаканчик,
Мигнет мне – за тебя, родной!

О, как нуждаюсь я в биенье
Их незатейливых сердец,
Их били так, что избавленье
Для них страшший нас конец.

Да, смерть для них – лишь переправа
В страну, где нет городских,
Из детства вставшая дубрава
И в школе выученный стих.

Все приподнять: и лужи, и песок –
Просили вы. Когда я это смог,
Да так, что даже белый одуванчик

Не повредил, сказали вы: «Обманщик,
Из палки не умеешь ты стрелять»,
Но за вранье поставили мне пять.
А я, имея три по физкультуре,
Хотел узнать, что там, на верхотуре,
И к небесам веревку прицепил
И вверх полез. Полез что было сил.
Но, видно, был я слишком теоретик
И с помощью формальных арифметик
Победу доброты не доказал,
И ангел верхний узел развязал...

Я так люблю тебя,
Что жизнь моя теперь
Не состоит из черточек и пятен.
Да, может быть, во мне проснулся зверь,
Но этот зверь мне дорог и понятен.
Я жить хочу
И по твоим глазам
Свою судьбу сейчас так ясно вижу.
О, до чего ж я слабость ненавижу,
Всю Землю поднимая к небесам!

* * *

Со своею пенной свитой
Бродит ветер вдоль залива,
Непогода серый свитер
Вяжет небу торопливо.

Среди крыш, покрытых цинком,
В переулках тихой Ялты,
Между церковью и цирком
Что, приятель, потерял ты?

За одно стихотворенье
Ты готов угробить душу.
В гимнастическом паренье
Волны прыгают на сушу.

На спасательном буксире
Ходят парни из ОСВОДа.
Ничего нет в этом мире
Непонятней, чем свобода.

ХУДОЖНИК

Один художник на ветру
Картину рисовал,
Но ветер с треском, как кору,

Чудесный холст порвал.

Художник стал на полхолста
Дописывать сюжет,
Как будто с чистого листа,
Свет превращая в цвет.

Но ветер дунул сильно так,
Что снова холст порвал.
Уже на краюшке холста
Художник рисовал.

О, ветер мой, остановись!
Тебе преграды нет.
Не рви на части нашу жизнь,
Цвет превращая в свет.

ПОЖАРНЫЙ

Сегодня в семь повесилось пальто.

А. Чиков. «Смерть пальто»

Толя Чиков пишет про пальто.
На Загорск уже зима легла.
Так пожаров мало, что никто
Не звонит, не бьёт в колокола.

«Как это возможно, чтоб поэт
Злой огонь по городу гасил!
Иль других специальностей тут нет?!» –
Бес внутри поэта голосил.

Толечка с брандспойтом и багром
Охраняет Сергиев Посад.
Всё это не кончится добром...
Но какие вирши пишет, гад!

ТРАМВАЙ ВЕСНОЙ

В сверкании стеклянного движенья,
Благодаря любому фонарю,
Ясней мы видим наши отраженья,
Чем мартовскую бледную зарю.
Сограждане, о, как мы многолики,
Когда вокруг опять дробится свет...
Рождают электрические блики
По небу сотни мчащихся планет.
Так мнимое от мнимого родится,
Своих причин не делая ясней,
И кажется – огромная столица

Вся состоит из призрачных огней.
Они, как насекомые лесные,
Летят на нас из предрассветной мглы,
Хватая на лету снега ночные
И забираясь в темные углы.
Они бегут. А их погонщик сзади
Идет, подняв над городом лучи –
В его просторном розовом наряде
Пробили дыры первые грачи.

СВЯТОЙ ДУХ

Дай простор Святому Духу,
Не лови Его сачком,
Будто бабочку копуху.
Если дверь забита глухо,
Он пройдет её тайком.

Он ведь Сам приходит в гости
Иногда... не к тем, кто просит
Или в церкви впереди,
А к тому, кто просто носит
Крестик старый на груди.

Он – Огонь Животворящий.
Нерождён и негасим.
Быть поэтом настоящим
Можно только вместе с Ним.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Сергей Попов*. Кресты. Стихи. М., «Информэлектро», 2000.
2. *Сергей Попов*. Говорящие названия. Стихи. М., «Дипак», 2006
3. *Сергей Попов*. Стрекозий взгляд. Стихи. М., «Дипак», 2010

Александр Сорокин

КОРОТКО О СЕБЕ

Родился я в Москве в последний день января 1954 года. До школы жил с бабушкой Анной Андреевной в селе Ильинское, что по Казанке, вслед за Малаховкой и Быковым. Мать, Вера Николаевна, работала в системе здравоохранения. Отец мой, Евгений Семёнович, был учёным, занимался теорией колебаний, и, думаю, помог, вкупе с другими светилами науки, не попасть нашей земле в разрушительный резонанс с отрицательными энергиями XX столетия. Я – поздний ребёнок, и отец мой – фронтовик, для меня уже этого достаточно, чтобы гордиться им.

В двенадцать лет впервые увлёкся писанием стихов. Это «помешательство» длилось около года и закончилось так же внезапно, как и началось. От той поры в памяти осталось только две строки: «Сижу я, гляжу в окно, и всё мне не всё равно...» Тогда же бросил занятия музыкой и «заболел» спортом, достигнув в нём за недолгий срок немалых успехов. Параллельно закончил технический вуз и занялся строительным делом. И вот, в 24 года, ко мне опять начали приходить рифмованные строки. Я их записывал в толстую тетрадь, вовсе не задумываясь, стану ли я поэтом или нет. Незаметно писание стало необходимостью, а чтение других поэтов – страстью. Первая любовь – Сергей Есенин. А затем любимых поэтов, моих учителей, стало не меньше, чем женщин, приводящих меня в восхищение. К слову, законных у меня было две жены: Ольга и Марина. От Марины растёт красавица дочь Дарья. И довольно об этом. Среди любимых поэтов не могу не упомянуть о Блоке и Анненском. Они для меня как два берега – один крутой жигулёвский; другой пологий, с заливными лугами, – между которыми уместились все течения поэзии серебряного века. Блока трудно долго держать около сердца – обожжёшься; Анненский же ненавязчиво греет душу.

К 30-ти годам встретился с Эдуардом Балашовым и Евгением Храмовым – первыми моими живыми учителями. Тогда уже профессия строителя вызывала у меня оскомины. И вскоре, по счастливой неслучайности, попал я в городок писателей Переделкино, конечно, в качестве «строителя», а не «писателя». Поэт Егор Исаев познакомил меня с Александром Межировым, и тот взял меня к себе в литинститутский семинар. В Литинституте я учился заочно. Переделкино подарило мне много интересных встреч, но больше всего запомнилось знакомство с Владимиром Соколовым – поэтом из славной когорты: Рубцов, Передреев, Прасолов.

В 36 лет я в основном закончил свою первую поэтическую книгу «Неравновесие покоя», которая вышла чуть позже – в 1993 году. По книге был принят в СП России. В эту пору я работал в журнале «Новый мир» с Олегом Чухонцевым и Евгением Храмовым, однако не поладил с главным редактором Сергеем Павловичем Залыгиным и вынужден был в конце концов покинуть журнал, к тому времени окончательно отвернувшийся от славных традиций Твардовского. Шёл 1995 год, проректор МАТИ им. К.Э. Циолковского Виталий Фёдорович Мануйлов, сам слагающий стихи и опубликовавший несколько книг, предложил мне вести в институте (теперь он имеет статус университета) литературу, русский язык и культуру речи. До сих пор и занимаюсь этим, подрабатывая где придётся по принципу «с мира по нитке».

После развода сменил Москву на Усово, но поэзию на прозу пока не поменял. Музыку люблю классическую и старые романсы; поэзию – традиционную, естественную, от сердца, без всяких формальных изысков; образную новизну вижу не в изобретательности, а в своеобразии художнического взгляда; поэтические символы для меня – видимые

свидетели мира невидимого. Самая постоянная моя привязанность – Фёдор Иванович Тютчев.

До сего дня выпустил четыре книги: «Неравновесие покоя» (1993), «Изборник» (2001), «Обратная перспектива» (2005), под обложкой которой живут три книги – переработанный вариант «Неравновесия покоя», а также книги «В отечестве другом» и «Бесследная тропа»; отдельным циклом туда входят «Вольные переложения». Четвёртую книгу я назвал «Снег тишины» (2009). В неё, как особый раздел, вошёл дополненный вариант «Вольных переложений».

Ну вот, пожалуй, достаточно сказано о внешней биографии. Внутренняя – в моих стихах.

ОНА МОЛЧИТ

Люблю её, большую, малую,
зову её: Святая Русь.
Никто у сердца не украл её –
ни швед, ни немец, ни француз.

И наши бравые правители,
и диссиденты-крикуны
проходят – только их и видели –
её не тронув тишины.

Она молчит, и в том молчании
так много смысла и огня,
как искренности – в покаянии,
и прегрешений – у меня...

ШЁЛ СНЕГ

Шёл снег...
Он был и тут же *не* был,
едва земли коснуться смел он,
хотя не мог расстаться с небом –
таким же призрачным и белым.
Казалось, что из черной жижи,
как от бессилия былого,
он поднимался выше, выше
и возвращался снова, снова...
Дыханьем вести небывалой
(а люди думали – напрасно)
будил он этот мир усталый
и намекал, пока бессвязно,
на тот исконный неуют,
где, как солдаты у дороги,
не брезгуя соседством, пьют
и люди, и зверьё, и боги.

КОГДА НЕ ПРИХОДИТ ПОДМОГА

Когда не приходит подмога,
не брошусь с тоски из окна,
решив, что прямая дорога
сквозь звёздное небо видна.

И так мы не раз пропадали
от пули, от водки, в петле,
но петь в кабале и опале
умели на этой земле.

И стыдно, сдружившись с бедою,
в чужом, безответном краю
выклянчивать лучшую долю,
оплакивать радость свою.

И совестно, да и не ново,
в зазнайки и выскочки лезть
тому, кто на русское слово
поставил и совесть, и честь.

И я не нарушу обета,
не важно, что там впереди,
вот только б дожить до рассвета
и ночь эту вброд перейти...

БЕССМЕРТНИК

Бессмертник мой, пускай темно, пускай!
Неприхотливый, радужный цветок,
хотя бы раз под вечер намекай:
никто из нас в труде не одинок.

Кусочек солнца в розовых лучах,
с каких незнамо сорванный полей,
ты на столе засох, но не зачах,
и о поре цветенья не жалея.

И я мудрей, спокойней, тише стал,
и мне размах и пышность не к лицу.
Я всё в себе расставляю по местам,
когда вернусь к Небесному Отцу.

СУДЬБА

А. М.

С глазами падшего ангела
и заиканием Моисея
не перепишешь набело

судьбу с заголовком: «Рассея».

И заставляет что-то
в благопристойной Неваде
помнить Синявинские болота
и Ленинград в блокаде.

Недаром, сердцем владея,
смешала родная глина
неприкаянность иудея
с норовом славянина.

Жить бы ему, хоть со Сталиным,
без козырей, да под небом этим,
в бедном краю оставленном,
в тысячелетье третьем!

В списках врагов не значится —
спасибо судьбе и за это...
Не перепишешь начисто
жизнь игрока и поэта.

ДАВНО ПОРА

Я. И.

А помнишь, Яном Бунина звала
его супруга Вера Николавна?
Ему же в Грасе русского тепла
так не хватало, а любви — подавно.

Вот ты с рожденья не Иван, а Ян,
и я не стану звать тебя Иваном.
Пускай порою ты бываешь пьян —
я сам бываю по неделе пьяным.

Но главное — поэзия, и с ней
нам не страшны разводы и запои!
Давно пора сомкнуть наш круг тесней,
и пусть печаль оставит нас в покое.

Давно пора не выживать, а жить
везде: в безмолвье, в безрассудстве, в звуке.
Давно пора нам сердце обнажить
и не бежать от боли и разлуки.

НАВАЖДЕНИЕ

Окружённый сполохами древними

(или в явь мои сны облеклись?),
над продрогшими в поле деревьями
красный месяц подковой повис.

И уже на раздолье языческом
прозвучал над отчизной степной,
нарушая безмолвья владычество,
крик неведомой птицы ночной.

Я ли это иль предок забытый мой
с первобытной вдыхает тоской
воздух, дымом становищ пропитанный...
или это костёр за рекой?

Чьи-то тени ползут настороженно
вдоль оврага сквозь редкий туман...
Или всё, чему быть не положено,
распоясавшись, вводит в обман?

Где я? Кто я? Прикинулся чудищем
пень разлапый, иль чудище – пнём?..
Только звёзды и в прошлом, и в будущем
неподдельным мерцают огнём!

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ЯНВАРЬ

Как пахнет снег, забыли мы,
дождит с утра и допоздна,
и без зимы среди зимы
трава, как в мае, зелена.

А вот пойдя на нас войной –
прямым ответом на вопрос,
глядишь, ударит запасной,
сорокаградусный мороз.

НА ТОЙ ВОЙНЕ

Я в смертный бой вступал во сне,
как будто наяву,
и погибал на той войне,
и до сих пор живу.

Из синевы спускаясь в ад,
в грохочущий разлом,
я знал, что нет пути назад,
и не жалел о том.

Над телом павшего бойца
призывно горн играл,

а я среди живых отца
в смятенье выбирал.

Но вот уже и нет живых –
все полегли в бою,
и канонады гул затих
у мира на краю.

Но вижу: скрыт густой травой
и пулями прошит,
в беспмятстве, полуживой
один солдат лежит.

Всю ночь я просидел над ним –
настырна смерть, хитра, –
моей молитвою храним,
он бредил до утра.

И вот рассвета час настал!
И отлегло в груди,
когда явился санитар,
как ангел во плоти.

Потом мне снился лазарет
и скальпеля металл.
Хирург, прося прибавить свет,
кроил, кромсал, латал.

Сон обрывался и опять
накатывал волной...
Уже я начал забывать
того, кто звался мной.

Иного воинства уже
небесные послы
бездомной, страждущей душе
благую весть несли.

Но что-то в памяти былой
мешало обретать
всепобедительный покой
и солнечную стать.

И так, плутая в полумгле,
я вспомнил наконец:
на хирургическом столе
мой воскресал отец.

ОТЕЦ

Придя как слух о без вести пропавшем,

он не скрывал осанки фронтовой
и не искал опоры в мире нашем,
и был спокоен – мёртвый, но... живой.

Припомнив всё, что вынес на плечах,
он оглянулся на свои потери –
и увидал меня...

и, промолчав,
шагнул во тьму сквозь запертые двери...

И как теперь мириться с тишиной,
не поддаваясь жалости и боли!
Ведь часовые стрелки за стеной
не по моей остановились воле,
и не со мною счёты сведены;
нигде не бьют тревогу об утратах,
никто вокруг не ищет виноватых...
А оправданье – тяжелей вины.

ЗА ОТЦА

Ни лагерей, ни пули не отведав,
но в поредевшем не чужой строю,
на дорогих развалинах победы
я за отца навытяжку стою.

Народ молчит. Безмолвны обелиски.
Толпа резвится, праздная салют.
Мы все – в одном, неуследимом списке
живых, где впрок побед не раздают.

И в этот строй я встал не для парада,
а ради той победной тишины,
разлитой в сердце русского солдата
с последним залпом праведной войны.

НА ЯХРОМЕ

Твой бег, извилистый, студёный,
среди холмистых берегов
увёл меня от думы тёмной
и необдуманных шагов.

В тиши, на солнечном припёке,
отмахиваясь от слепней,
я ощутил себя в потоке
ничем не омрачённых дней.

Ненастья дальние раскаты
здесь не спугнут и стрекозы,

и чем богаты, тем и рады
бегущие, как сон, часы.

Кузнечик серенаду Брамса
переложил на свой манер
и так на стебле расстарался,
что слился с музыкаю сфер.

И я, с дремотой мысли слитый,
пчелою уношусь в луга,
вдыхая запах первобытный
новорождённого цветка.

О пошлой жизни забываю,
с ее бравадой и враждой,
как будто дверь приоткрываю
в забытый всеми храм пустой.

СНЕГ ТИШИНЫ

Под утро укрылось окрестье
ворсистым, уютным снежком.
Проснулись – и будто воскресли,
какое безмолвье кругом!
На свете и чёрном, и белом
ни звука... светлеет восток...
Простудам своим застарелым
и всем холодам поперёк,
в неприбранной комнатке тесной,
среди разорённой страны
проснулись – и будто воскресли
из этой святой тишины...

РОДНЯ

Как Отец Небесный у всех один,
так земной отец у каждого свой.
И живёт в сыновьях единый Сын,
распинаемый на стезе земной.

За спиной отца – материнский вздох
и святая горечь слезы иной,
разделившей участь сирот и вдов
и связавшей всех нас одной виной.

У судьбы твоей как ни горек вкус,
как отечество своё ни кляни –
не расторгнешь этих надмирных уз
и родней не сыщешь себе родни.

Пусть к тебе любви не доходит луч,
пусть твой день невзгодами заслонён, –
разве солнце, скрытое за ордою туч,
заставляет нас сомневаться в нём?

ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Нас убивают,
жить не дают –
не убывает
небесный уют.
Автоэпиграф

1. СТАРЕЦ АМВРОСИЙ

И шли к нему Толстой и Достоевский,
Леонтьев шёл из тьмы, и тьмы других...
На воздыханья и на ропот дерзкий
он оставался благостен и тих.
Не придавал учёности значенья,
всех окружал смиренной добротой.
В небесной жажде самоотреченья
одна любовь была его звездой.

2. РЕКА В ДЕТСТВО

Неугомонная Жиздра-река
у монастырского тихого взгорья
так же игрива, резва, глубока:
взору – веселье, и вере – раздолье!

Я не язычник, но радость полней
здесь от такого мирского соседства:
точно в воде, отражается в ней
неискушённая искренность детства.

3. ПАЛОМНИКИ

Путь от Козельска вплоть до Оптиной
лежит через сосновый бор.
Всё, что мы звать привыкли родиной
и что пустили под топор,
здесь оживает в сне молитвенном
уединённого скита;
по страстным кочкам и по рытвинам

по закоулкам прославленных книг,
выбери лавочку в тихой аллее
и побратайся с июльским теплом.
Вот уже *на* сердце стало светлее,
вот уже стыдно вздыхать о былом.
Братия чинно гуляет по саду.
Здесь для паломников – подлинный дом.
Красит сестриц, проходящих в ограду,
белый платочек и длинный подол.
В келье цветочной тебе не прижиться,
но в одночасье забыть не дано
эти слезой просветлённые лица,
словно раскрытое настезь окно.
И, возвращаясь к исканиям старым,
ты разбазарить в пути не спеши
в Божьем саду обретенную даром
радость укромную кроткой души.

СЛАБЫЕ

Кто в одиночестве стоит –
Стоит, чтобы упасть.

Эдуард Балашов

Кто в одиночестве стоит –
стоит, чтобы упасть.
Живущий в страхе будет бит,
завистник станет красть.
А сильный волею своей
себя сведёт на нет.
Но слабому без козырей
одна опора – Свет.
Он, точно дерево, един
от кроны до корней,
невидим, но непобедим,
не жизнь, но слился с ней.
Могуч он веденьем своим
во всех сквозных мирах,
масть козырная перед ним –
ничто, могильный прах.
Он духом слабого крепит,
а сильный – лести раб,
и совесть враг ему, и стыд.
Да славен тот, кто слаб!

ОСЕННЕЕ

Листья в бездомном полёте,
что не даёте мне спать,
что вы мне спать не даёте? –

вот пробудился опять
шелест ваш, шёпот и шорох
в полураскрытом окне...
или в безвидных просторах
вспомнила мать обо мне?
Скоро укроются снегом
рощи, поля, города.
Холодно быть человеком –
вам и мороз не беда.
Листья в бездомном полёте,
нет для вас стужи и тьмы,
без сожаленья уснёте
под покрывалом зимы...

МЫ БУДЕМ ВСЕ ЗАНЕСЕНЫ

Мы будем все занесены
бесследным снегом тишины.
В лучах внезапного рассвета
друг друга не узнаем мы
и не увидим ни зимы,
ни расточительного лета.

Ни осени не будет там
и ни весеннего разлива,
но я так просто не отдам
всего, чем нынче сердце живо.

Ни этой ивы, над рекой
склонившей ветви в час закатный,
ни суматохи городской,
ни русской доли непонятной.

Не уступлю молчанью звёзд
и славе, тягостной, посмертной,
ни первых покаянных слёз,
ни материнский вздох последний.

СМОГУ ЛИ...

Когда останусь я один
и будет некому помочь,
скопление каких картин
подбросит мне злодейка ночь?

Смогу ли вынести тогда
всю тяжесть, весь позор срамной,
пусть и не Божьего суда,
а только совести больной...

ВСЁ ИЩУ

Наш язык – сырой песок и глина,
если высечь некому огня.
Сколько слов прошло порожних мимо
под рукой и сердцем у меня!

Всё кручу, кручу свой круг гончарный,
но учитель молчалив и строг:
полстолетья с гаком за плечами –
ничему не подведён итог.

Каждый день мой – чистая страница,
только этим молод я опять
и способен с прошлым примириться,
и меня оставивших понять.

Верю, снова будет мне опорой,
хоть по гроб я у неё в долгу,
красота безгрешная, с которой
всякий час я встретиться могу.

Принимая многое на веру
и к судьбе доверие храня,
всё ищу гармонию и меру
в каждой строчке прожитого дня.

ПО КРАЮ

Пил, гулял, ходил по краю,
был с отребьем в кунаках,
сам не знал, во что играю,
думал, всё в моих руках.

А когда пришло похмелье –
ужаснулся, сжав виски:
ни бахвальства, ни веселья,
ни смятенья, ни тоски.

Будто безымянный кто-то,
безучастный и чужой,
завладел бесповоротно
моим телом и душой.

И врагу не пожелаю
я такое испытать.
Что посеял – пожинаю.
Как бы вновь собою стать!

Пил, гулял, ходил по краю,

все постромки развязав,
и не знал, что исчезаю
у себя же на глазах.

ИЗ БОЛЬНИЦЫ

В Барвихе свет, темно в Ильинском,
вагонный тамбур в полумгле,
и лбом приникнув к снежным брызгам
на чуть оттаявшем стекле,
блаженство – ни о чём не думать,
себя за слабость не казнить,
не знать, откуда ветер дунет,
не строить планы, – просто быть...
Открылись двери, и платформа,
как скатерть, под ноги легла
полоской белой в *ночи* чёрной...
Природы сон не помнит зла!
Молчат задумчивые сосны,
макушки тянут в небосвод,
дремучий пень порос коростой,
однако тужится, живёт...
Ещё не всё во мне угасло,
не всё помечено бедой.
Что ж, будем жить, крушеньям *на*зло,
заботой сердца молодой.

ОПЯТЬ ПОТЕМНЕЛО

... Немного у жизни лукавой
И всё у ночной тишины.

Анна Ахматова

Музыки властной прилив и отлив
жду с нетерпеньем, но близок рассвет.
Ночь молчалива, да день говорлив,
так говорлив – просто удержу нет!

И потемнело опять на душе
от неотвязной людской болтовни.
Даже себя я не слышу уже,
что же способны расслышать они?

НОЧЬ РОЖДЕСТВА

Стоит бесснежная зима,
и Рождество – без снега,
но сердце не сковала тьма
бездомного ночлега.

Оно, равняясь на восход,
непринуждённо бьётся
и тишину живую пьёт
из звёздного колодца.
А звёзды в эту ночь-весну –
и в наши дни, и ранее, –
всегда приветствуют одну
на всеобщем стоянии.
И мы невидимым узлом
с варажей млечной связаны,
и под невидимым крылом
вновь не родились разве мы?
И затихают все ветра,
и каждому по вере
откроют ангелы с утра
невидимые двери...

НАШ ПУТЬ

Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной...
Александр Блок

В разгуле блоковской метели,
в потёмках лжи, что вьюги злей,
скитаясь, не осиротели
сыны Евразии моей.

Не стали небеса пустыми,
не век нам мыкаться одним:
за падших молятся донныне
святые Сергей, Серафим.

На паперти беды кромешной
и на полях отчизны всей –
повсюду брат нам – мытарь грешный,
а не кичливый фарисей.

Пусть для чужих мы иноверцы –
внушая ужас и восторг,
в безмерном, терпеливом сердце
мы слили Запад и Восток.

А сами не Восток, не Запад –
от века Русью нареклись,
но любим сны мечетей, пагод,
костёлов, устремленных ввысь.

И всё же нашу грусть степную,
кочевий облачных стада,
наш крест на родину иную
не променяем никогда.

Во все глаза, как из подполья,
на этот белый свет глядим.
Такая нам досталась доля:
дорог не счесть, а путь один.

ЗАКЛАД

Тишину связав со словом,
а молчание – с судьбой,
буду жить в краю сосновом,
славить небо над собой.

Что случится, то случится,
я не бог земной стези;
чашу горя, жизнь-волчица,
если можешь – пронеси.

Если я чего-то стою,
если вскормлен был тобой,
вспрыснут мёртвою водою –
окропи водой живой!

Если я чего-то значу,
может, где-нибудь, хоть раз
кто-то обо мне заплачет,
искренне, не напоказ.

Сыном века простодушным,
оправдаю ли заклад?
Как сказал однажды Пушкин,
я обманываться рад.

МАТЬ И ОТЕЦ

Мать и отец – на небесах, я – на земле пока что.
Они стоят в моих глазах, а прочее не важно.

Я сердцем чувствую – они не знают там покоя
за все мои шальные дни и шутовство мирское.

Не убивайтесь, помню я о совести и чести.
Мы все – небесная семья с земной семьёю – вместе.

Неразделимы и верны одной большой заботе.
Какой? – приоткрывают сны у ночи на излёте.

Пускай всего не разгадать, но я, рождённый вами,
пройду свой путь от *аз* до *ять*, не покривив словами.

А для любви не надо слов. Она везде и всюду.
Неизносим её покров. А мы не верим чуду...

АВГУСТ

Хорошо затеряться под звёздами
в заполуночный ласковый час,
для того они, верно, и созданы,
чтоб тревожить и радовать нас.

Чем ещё меня август порадует? –
Так спокойно в притихшем саду,
только слышно, как яблоки падают,
утром их собирать я пойду.

Буду кроток, приветлив и благостен,
чтобы лучик любви не погас
и другим, искупительным радостям
научил меня Яблочный Спас.

ВЕТЕР ЖИЗНИ

В нашем мире родиться,
у любви задолжав,
человеком ли, птицей –
удивительный шаг.

С этой радостной тайной
я иду на закат,
каждой встречей случайной
с неизбежным богат.

Из забытого дома
возвращаюсь домой –
всё мне в жизни знакомо,
кроме жизни самой.

ПРОЩАНИЕ

Не знаю, подашься куда ты,
когда загрущу я всерьез.
Не август ли, наш провожатый,
в раздумья сумятицу внес?

Ты видишь – и солнце, робея,
к зиме экономит лучи.
Не знаю, кто нынче тебе я,
но если ты знаешь – молчи.

УСКОЛЬЗАЮЩИЙ СВЕТ

От жестокой и мутной житейской воды,
год за годом и день ото дня,
остается навязчивый привкус беды,
словно кто проклиняет меня.

Точно я, неизменной рукою ведом,
оставляю не жизнь за собой,
а побитый ветрами и брошенный дом
с покосившейся черной трубой.

Я не знаю, к какому исходу приду,
но в моем закоптелом окне
и за бедной мечтою о счастье, в бреду,
часто большее видится мне.

И тревожит не холод могильной плиты,
а души ускользающий свет
на пороге, быть может, такой темноты,
от которой спасения нет.

НОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ

Всю тебя я в ладонь уместил
и как будто держу на весу,
пронося над виденьем могил
в загустевшем от мрака лесу.

Здесь никто не спохватится нас,
за ночной не осудит побег,
не присвоит себе этот час,
эту ночь, этот год, этот век.

Потому и не зябко вдвоем
меж кладбищенских стройных оград
в темноте, в неустройстве своем
нам безмолвно брести наугад.

ГОРА

От солнца ослепительного ежась,
в облезлой бурке снега на плечах
она напоминает осторожность
того, кто в одиночестве зачах.

А я, ногой соскальзывая в пропасть,
ее за то, наверно, полюбил,
что сам напоминаю одинокость

того, кто осторожность позабыл.

* * *

Зачем, кому не знаю *на*зло,
с упрямством, вовсе не благим,
и относясь не беспристрастно
к несостоявшимся другим,
как раковина моря шум –
в себе ту женщину ношу,
мою не лучшую, но первую.
И самую из всех неверную.

НЕВЕДОМОЙ ДОРОГОЙ

Я иду неведомой дорогой,
не пытаюсь в сторону свернуть,
мимо тех, кто в старости убогой
у обочин сели отдохнуть.
По пути встречаюсь с давним другом,
но не смею звать его с собой:
здесь никто не должен быть напуган
ни моей, ни собственной судьбой.
Тени лет чредой проходят мимо.
Я иду в неизвестности земной.
Вот и та, что мной была любима,
но ещё не встретилась со мной.
Прохожу – в предчувствии развязки
успевая вспомнить и узнать –
мимо детской старенькой коляски,
где меня укачивает мать.
Всё не так, как это раньше было!
И былой уверенности нет:
впереди не смерть и не могила –
только яркий нестерпимый свет!
И не страшно, подобравшись к краю,
заглянуть в грядущее окно,
где я вовсе и не умираю,
потому что нет меня давно.

РОДИНА

Вот ещё один поход затеян
и ещё один назначен срок.
Есть о чем подумать грамотеям
на распутье временных дорог.

Мы умеем, робкие вначале
и уже солгавшие не раз,

всё, о чем мы дружно умолчали,
выставлять огулом напоказ.

А она, с терпимостью вокзала
приютив растерянных людей,
никому ещё не навязала
ни кривых, ни праведных путей.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Все, приходящее извне,
мое – случайного не будет,
за сны никто нас не осудит –
вот отчего так пусто мне.

Не надо сны смотреть всерьез,
где все взаправду происходит,
пока душа в потемках бродит,
как будто век ей не спалось.

2

Я невиданный в мире вор:
от тебя мастерю замок,
чтоб труднее было украсть
то, что я так хочу украсть,
то, что я так боюсь украсть,
потому что до этих пор
слишком часто ко мне на двор
забегала чужая страсть.

3

То, что не с нами случилось, некстати
вдруг повторяется в жизни иной.
Может, не я пожалел об утрате
давнего чувства, хранимого мной.

Может быть, вовсе не в этом столетье
мы родились, и не встретились там
лишь потому, что на нынешнем свете
свету тому я тебя не отдам.

ЗАБРОШЕННАЯ ЦЕРКОВЬ

А. А.

Леса, поля, заброшенная церковь,
и я один среди ее развалин,
и день, почти до сумерек померкнув,
из той же вечной осыпи изваян.

Как никому не ведомое чудо –
колокола поют без колоколен!
И жизнь вокруг не кончится, покуда
вселенский дух тоскою этой болен.

КОГДА ДУША СОЕДИНИТ

Когда душа соединит
в неравновесии покоя
сознание полугородское
и полудеревенский быт, –
вся жизнь покажется иной,
какой-то спайкой бестелесной
неотвратимости земной
с неуловимостью небесной.

Заслышав дальний перезвон
«Преображения Господня»,
с необъяснимым торжеством
запомнишь, как легко сегодня
печаль вечерняя легла
на день, что безыскусно прожит,
на всё, чего и быть не может,
когда молчат колокола.

ПУСТАЯ ДАЧА

Не выношу я шумных сборищ
и убедительных речей,
когда толпе послушно вторишь,
а сам как будто бы – ничей.

Но здесь все видится иначе,
пускай, врываясь в тихий быт,
раскачивает лес и дачу
все тот же ветер злых обид.

На шаткой палубе фрегата,
где никому в ночной глуши
о нас докладывать не надо, –
на миг столкнулись две души.

И мир преобразился, вписан
в полуокружие террас

случайным вечности капризом,
касающимся только нас.

* * *

Мелодия играла
и к радости звала,
и легкостью пленяла
звнящего крыла.

И было неуместно
печалиться о том,
что в этом мире тесно
отныне нам вдвоем.

Я чуда ждал, бескрылый,
ступая на порог!
...Но ты не пощадила,
и Моцарт не помог.

ПОПУТНОЕ

Не расставаний я боюсь,
ведь привыкают и к потерям,
когда их вынужденный груз
живыми поровну поделен.

Но удивительно, как нас
не унижает мысль при этом,
что никого никто не спас,
пока никто никем не предан...

* * *

Держась на гребне мутного потока,
обожествляя жизни суету,
в какой-то миг от тайного упрека
мы замираем в страхе на ходу.

Нет, мы не слышим ангельские хоры,
но замечаем, может, лишь сейчас,
как под собой не чувствуя опоры,
все чаще небо падает на нас.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Просыпаясь, не мог я проснуться:
в тесноте, выбиваясь из сил,

все пытался куда-то вернуться,
о спасенье кого-то молил.

Новый день как последний встречая,
я очнулся в холодном поту:
– Жив!..

И вот уж за чашкою чая
и за чаркой беседу веду.

Утлый мозг, как он сдался поспешно
на потребу застольных идей!
Как он любит утробно и нежно
отвратительно умных людей!

О, в каком же терпенье высококом
будет сердцу способность дана
уловить бессознательным оком
Божий свет через все времена!

ЭПИЗОД

А вечер опять по домам растащили
и жгут.
Но никто не обрадован светом –
как женщина,
что привыкая к мужчине,
другому верна.
И не знает об этом.

* * *

И любить не могу я, и знать не хочу
ваших нужд и надежд, ну какое мне дело,
что любая работа ему по плечу –
человеку – невольнику брэнного тела.

Лишь на миг он приходит, в безверье зачат,
и уходит, кончиной живых потревожа.
Но живых ли? – об этом надменно молчат
и природа, и разум, и смертное ложе.

ГОРОДСКОЙ САД

Должно быть, полнясь слухами о ветре
и к городской прислушиваясь речи,
так неподдельно начинали ветви
исподтишка вздыхать по-человечьи
и принимать изгибы рук и тела,
быть может, тех, кому до них нет дела;

и был в тени похож на дно морское
притихший сад, не знающий покоя.

* * *

Рыжий лист, летящий косо,
мне кивает на лету:
«Ничего, дружок, не бойся –
вот сейчас я упаду,
упадешь и ты когда-то
радостно у ног Его...»

Я б листу поверил свято,
не боялся б ничего,
знал бы, как души остуду
одолеть в укор всему,
если бы хоть раз оттуда
заглянул в дневную тьму.

* * *

Нашу быль по частям соберут
и опишут с любовью нелестной:
люди отверженный, тягостный труд
и томление духа над бездной.

И ни словом не вспомнят о том,
как светился по-своему каждый
в этой жизни, святой и продажной,
на ее повороте крутом.

Сквозь деревья небесный овал –
не судьбы ль отраженье живое?
Кто меня за собою позвал? –
Не слышал, не видал никого я.

УЧИТЕЛЬ

Я уйду, никого не спросив,
Потому что мой вынулся жребий...
Иннокентий Анненский

Как ты умел не показывать виду,
знающий боль Помыканий и Злоб,
горечь какую, какую обиду
жизнь заколотит в газетовый гроб.

В штатском мундире, затянутом туго,
Боже, как душно! Как плоть тяжела!

Как безутешна сердечная вьюга
и безнадежна грядущая мгла!

Но к небесам вырываясь из плена,
как ты вдыхал этот свод голубой! –
будто и вправду легка и нетленна
музыка, ставшая нашей судьбой.

Так направляй, проверяй меня снова,
не позволяй мне мириться с бедой! –
греческой Музы и русского Слова
мой царскосельский учитель седой.

* * *

Голубоватый лунный снег,
рожденный звездными ночами,
и эта ночь вдали от всех,
и дом у ночи на причале,
и беспризорный свет в окне,
и дуновение любое,
и куст, склонившийся ко мне,
и скрип деревьев, спящих стоя;
и леса острые края
во мгле сияющего неба,
и тень бессонная моя,
за мной крадущаяся слепо
сквозь зыбкий мир теней вокруг –
лишь только я шагнул с порога,
все это мне открылось вдруг,
как сон, как давняя тревога
души, отбившейся от рук,
но не отрекшейся от Бога.

ТЫ В ВЕЧНОСТЬ УШЕЛ

Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

Борис Пастернак

Ты в вечность ушел и былинки не тронув,
стал спутником ветра, шумящего в кронах,
и как оправданье опальной судьбы,
светилась печаль на пустующей даче...
Наверно, вины не искупишь иначе
как смертью, а пошлость бессмертна, увы.

Ты признан – и вновь от живых отгорожен
судом почитанья, на славу похожим.
Но звуки не знают запретных дорог! –

они набегают, прищурясь от света,
который сквозит в умолчаньях поэта,
едва уловимый за промельком строк.

* * *

Деревья, звери, птицы, облака
единства не утратили пока
и нас оберегают втихомолку...

И потому, наверно, без нужды
еще ни разу я не рвал цветы
и никогда не брался за двустволку.

Я ВИЖУ

Я вижу, в отчизне не скоро
наступит желанный покой,
мой голос не слышен из хора
рассудочной свары мирской;
но сердце, послушное зову
укромных ночных голосов,
не дремлет и учится слову
по-новому с самых азов.

МОЛЮСЬ ЗА ВАС

Молюсь за вас, мои друзья-поэты!
У сильных мира, занятых тщетой,
на все вопросы найдены ответы,
а мы живем надеждой и бедой.

Все хорошо, пока мы дышим с вами,
пока вершим свой бескорыстный труд:
печаль незнания украшать словами
и верить в то, что строки не умрут.

ПИСЬМО

Александрю Межирову.

Я к тебе путей не знаю,
но зато в родном краю
часто с болью вспоминаю
неприкаянность твою.

Те ночные разговоры
в тишине, наедине

с собеседником, который
был всегда так близок мне.

Не пророк в своей отчизне,
от души, не свысока
ты сказал, что правдой жизни
правит правда языка.

Не считаясь с расстоянием,
в сердце голос не затих,
окрылённый заиканьем
этих гласных горловых...

Звуком связаны отныне,
как невидимой струной,
у себя ли, на чужбине,
где бы ни были с тобой, –
сохраним в потёмках мысли
путеводную звездой
нашу совесть – «стыд корысти»,
как её назвал Толстой.

Потому что не по крови,
а по Слову состоим
мы в родстве, и тем суровой
оправдание пред ним.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Дворцы и хижины горят,
страна расколота на части,
а мы с тобою невпопад
мечтать осмелились о счастье.

О незаметном, о простом,
о мимолётном – будь что будет,
пусть соплеменники потом
нас по незнанию осудят.

Простим их, многим невдомёк,
что *мир* задуман был иначе,
что он заведомо широк
для нашей участи незрячей.

Что перевернут кем-то он,
и возвышается доньше
над нами *Рим* – оплот гордыни,
богов ослепших пантеон.

ТАК БЫВАЕТ

Ярких дней промежутки короткий
нам напомнил о солнце не зря:
мы плывём перевёрнутой лодкой
по холодным волнам октября.

Днище неба промокло без пакли,
землю в озеро луж превратив.
Бьют о жёсть монотонные капли,
сочиня бездомный мотив.

Что-то будет ещё, что-то будет,
перетерпим – и станет ясней.
Дни мелькают в осенней запруде
полосатой гурьбой окуней.

Срок настанет – и вынырнет рыба
золотистого нового дня.
Непогода в глазах твоих, ибо
ты в других не находишь меня.

Так бывает, поверь, так бывает:
мир простужен и холодно в нём,
солнце долгие тучи скрывают...
Мы вернём наше солнце, вернём!

ЗАКЛИНАНИЕ

Прожить бы скупее и проще
остаток отпущенных лет,
как эти унылые рощи,
встречая закат и рассвет.

Вослед убегающим тучам
шагнув за родимый порог,
умчаться бы прахом летучим
однажды в назначенный срок.

Но так, чтобы мысли, и чувства,
и память о доле земной,
и горькая радость искусства
навечно остались со мной.

ЭТОЙ ТЕМНОЮ ТРОПОЙ

Этой темною тропой
от пустой платформы к дому
мы всегда идем с тобой,
как по берегу крутому.

Никуда свернуть нельзя,
точно вправду перед нами
не дорога, а стезя
брезжит тусклыми огнями.

Справа тянется забор,
слева сумрачные ели,
придвигаясь к нам в упор,
стынут в снежной колыбели.

Тьма сгустилась за спиной
кровью вечного заката,
и отрады нет иной,
как стремиться вдаль куда-то.

Только тем, что впереди,
мы и можем быть согреты
на завьюженном пути
к берегам просторной Леты.

НЕ ИСЧЕЗАЙ

Неиссякаем тревожащий нас изнутри,
всепроникающий и ускользающий свет.
Некогда Хлебников выдохнул: «О, озари!»...
«Не исчезай!» – через годы шепчу я в ответ.

Трудно сражаться с судьбою один на один
и воздвигать, не имея иного жилья,
мост над потоком несущихся бешено льдин,
дышащих ужасом мрака и небытия.

УХОД

Избави Бог
жить только для этого мира...
Л.Н.Толстой

Навек покидая любовью отравленный дом,
уставший от славы и тяжбу затеявший с Богом,
он знает, что сердце не может болеть о пустом
и печься о малом, томясь в одиночестве строгом.

И, глядя сквозь слезы на жалкие прутья ракут,
на тихое небо, зовущее в пропасть иную,
быть может, одно про себя неотступно твердит:
«За что так любовно я жизнь эту к смерти ревную?..»

ПРИТЧА

Его влекла пустынная свобода,
и, сторонясь враждующих племен,
в дремучий лес, под сень живого свода
от худших зол смиренно скрылся он.

Рождались царства в копоти и дыме,
менялись судьи, жертвы и вожди,
крошилась память, рушились твердыни,
и пыль времен стелилась позади.

Но сохранилась тихая обитель,
бездомный люд призревшая не раз,
где пустыни давно ушедший житель,
себя спасая, не забыл о нас.

СТРАННИК

На крутом подъёме или спуске,
покоряя новый перевал,
с языка небесного на русский
переводы он одолевал.

То себе казался мулом вьючным,
то теснину брал одним прыжком,
но нигде назойливым и скучным
не был день его в труде мирском.

И вместив, что в дымке открывала
и сулила за грядой гряда,
понял он: надёжного привала
на земле не будет никогда.

А язык, как повелось в народе,
доведёт, коль не попутал бес,
в нужный час и при любой погоде
до Москвы, до славы, до небес.

ТЮТЧЕВСКАЯ ОСЕНЬ

Пускай земное небо в тучах,
а ясных дней – наперечет,
лишь о любви вздыхает Тютчев,
она одна его влечет
и золотит его седины
закатной нежностью, и вновь
не знает сердце середины
и смертью платит за любовь!

ПРИЗНАНИЕ

Мой город на семи заплаканных холмах
был тих и златоглав, стал мрачен и двулик,
и мне ли воспевать его слепой размах,
законность грабежа и важность умных книг?
Но ревностью своей я у него в долгу
за то, что, осмелев, держусь особняком –
и неподдельных чувств, просящихся в строку,
не смог бы испытать в отечестве другом.

ТЫ ЗНАЛА

Уюта – нет. Покоя – нет.
Александр Блок

Холодный ветер дул с окраин,
бросало в дрожь особняки.
Ты знала – мы с огнём играем,
но не отдернула руки.
В любви так много жадной страсти –
она бездомна и груба,
как это долгое ненастье,
как наша тёмная судьба,
как тот, с перрона отходящий,
пустой, нетопленный состав...
«Мой милый, ты ненастоящий,
и я умру, твоею став».
Да! Но тогда ты промолчала,
к моей щеке прильнув щекой.
Да! Но начать нельзя сначала
ту жизнь – она была такой.
Беда нас бросила друг к другу
при тусклом блеске фонарей
и повела сквозь гарь и вьюгу
шататься у чужих дверей,
делиться радостью любою,
впотьмах отыскивая след
к тому уюту и покою,
которых и в помине нет.

ПОЛОВОДЬЕ

Пересыпан еловой иголкой
ноздреватый, нахохленный снег,
под его набухающей коркой
бредят струйки разливами рек.

Март не шумен, но полон азарта,
дни раздумий уже сочтены,

только вдох остаётся до старта
набирающей силу весны.

Так и жизнь моя в сдержанном вдохе
копит силу воды и огня,
всё, что я собираю по крохе,
переполнит однажды меня.

Разольюсь и сгорю без остатка!
На стекле заиграю лучом!
Ах, как вольно, как больно и сладко
жить и петь непонятно о чём!

НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

Под чужим безгласным небом,
что таит он между строк
о земле, где столько не был:
фантазёр, мудрец, игрок?

В золотом котле свободы,
обратив к России взор,
ямбом, вышедшим из моды,
всё ли дышит до сих пор?

Никому давно нет дела
до его смешных обид.
Жизнь не то, чтоб пролетела,
не о славе он скорбит.

И когда в углу забытом,
помавая в такт рукой,
снова духом воспарит он
над нечаянной строкой, —

не найдётся, как ни сетуй,
правде жизни вопреки,
настоящих слов для этой
возвышающей тоски.

РУССКАЯ МЕЧТА

Когда, усталый, выйдешь в поле
и ощутишь покой и волю, —
поймешь, что вовсе неспроста
смиренье — русская мечта.

Туман над черной бороздой
плывет, как странник поднебесья...
Но разве сам такой не весь я:

и этой жизни сын, и той?

РАССВЕТНОЕ

Высокое небо стоит надо мной!
И, вторя рассветному чуду,
любовь, отдающая болью земной,
расставила сети повсюду.
И ель, что ночами скрипит за окном
с какой-то печалью нездешней,
никак не напьется последним теплом
из первой проталинки вешней.

НЕ БОГ И НЕ ЗВЕРЬ

Ты не Бог и не зверь –
оттого ты всегда одинок
перед страхом потерь,
перед холодом вольных дорог.

Или враг, или друг
в этом холоде необходим:
враг убит, друг отбился от рук –
и опять ты один.

Ты пойдешь до конца
и другому прикажешь: живи!
Но замкнутся сердца
для стихов, для молитв и любви!

Будет проклят твой род
и померкнет заоблачный свет!
Упований твоих и забот
потеряется след.

Но, природы двойник,
кем ты станешь тогда, человек,
если чистый родник
постиженья – иссякнет навек?

На кого же тогда,
попирая твой волчий закон,
неземная сойдет красота
с потускневших икон...

ХУДОЖНИК

Я на высокий подвиг не помазан,
передо мной соблазнов череда,
и всё же я твоим глазам обязан
не только тем, что канет без следа.
Лукавства нет в их глубине бездонной,
зато лукавы внешние черты.
Я не рискну сравнить тебя с мадонной,
и на блудницу не похожа ты.
И может быть, как вздох перед молитвой,
от юных лет до крайнего штриха
вся наша жизнь – о верности забытой
и чистоте прекрасная тоска!

2

Всё строже кисть, всё реже я пасую,
на полотне подмен не избежав.
Что началось, пропасть не может всуе,
когда от сердца сделан первый шаг!
Да и какую ни возьми доктрину –
не нахожу я правды без прорех,
и мирозданья полную картину
нельзя представить, не впадая в грех.
И от своих затей не уклониться...
Куда ведёт бесследная тропа?
Всё ближе смерти белая страница,
всё тяжелей бессонница труда.

3

А ты, душа, молиться не устала? –
надёжен щит небесного устава,
и разум мой, бредущий наугад,
не помутился на пути возврата
к истоку, к Слову, к солнцу без заката,
по неизбежной лестнице утрат.
«Доверясь мне, не бойтесь измениться,
исчезновений призрачна граница», –
так говорю я на исходе дней:
моих ли, ваших – разве в этом дело, –
итог не страшен, если мысль доспела
до красоты и растворилась в ней.

ПЛАТ ПЕНЕЛОПЫ

Миновали дни потопа,
длится жизни маскарад.
Распускает Пенелопа

ожиданья вечный плат.
Вновь на спицы нижет петли,
нить бежит то вверх, то вниз...
– Неподкупная, помедли,
на мгновение очнись:
на исходе век двадцатый –
что нам странник Одиссей! –
все твердыни мира взяты
и в руинах Колизей.
Наше судно укачало
в буре пирровых побед,
нет надёжного причала
и Итаки прежней нет. –
Но бессмертные царицы
возвестил поэт слепой,
и невидимые спицы
правят жизнью и судьбой.

СЕБЯ НЕ ЗНАЯ

Мы живём, себя не зная
и куда наш путь лежит,
но сознания ткань сквозная
в каждом атоме дрожит.

И уводит нас незримо
вековечная стезя
от затей беспутных Рима
в даль, где прежним быть нельзя.

СКАЖИ

С. П.

Скажи, а что такое гений,
какой смиришь его уздой?
Из наших взлетов и падений
возникли Пушкин и Толстой.

От юности монгольской нашей
пролег терпенья долгий путь...
Кому же дальше воз с поклажей
греха и святости тянуть?

Легко ль творить по Божьей воле,
усталый век опередив,
судьбой навязанные роли
вплетая в собственный мотив...

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Ты давно исчезнуть мог,
но судьба хранит пока,
подтверждая, что ходок
долговечней ездока.

Не смущайся, если гол
как сокол, нужду твою
подтверждает произвол
в разворованном краю.

Ну а то, что хватки нет
у тебя кривить строкой, –
подтверждает, что поэт
выше низости такой.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Так вот в какой постыдной луже
Твой День Четвертый отражен!..
Владислав Ходасевич

Кругом банкуют и блефуют,
одна забота – угадать,
смекнуть, откуда ветер дует,
и выгодней себя продать.
И каждый день одно и то же,
как десять лет и век назад,
и те же тучи, слякоть множа,
над нашей головой висят.
Я вышел из повиненья,
я сердце поднял на мятеж! –
и мир, совсем как в дни творенья,
стал убедителен и свеж.
Пусть это длилось так недолго –
всего каких-то восемь строк,
но в них, поверьте, больше толку,
чем в жизни, отданной в залог
непросыхающей трясине
предательства и барыша,
куда я падаю из сини
небесной, будущим дыша.

СВИТЕЗЯНКА

Kto jest dziewczyna? – ja nie wiem.
Adam Mickiewicz¹

Из царства закамористых коряг,
по белому песчаному откосу
мы вышли к берегу, где менестрель-поляк
там, на волне, твою приметил косу.

И здесь, где в воду свесилась сосна,
он проходил, и, как ни злился ветер,
ему была твоя печаль слышна,
и он строкой на брачный зов ответил.

А в этот час над озером разлит
июльский зной, в лицо нам солнце светит,
и ничего волна не говорит...
но, может быть, на мой призыв ответит...

2

Сквозь сон редящих стволов,
из недр озерной глади зыбкой
ты позвала меня без слов
своей русалочьей улыбкой.
В объятья влажные взяла
и расставаться не хотела;
прозрачней, призрачней стекла
твое мне показалось тело.
Казалось, были мы одни
во всей безоблачной округе,
и человеческой возни
до нас не доходили звуки.
С начала дней твоя родня –
огонь небес, вода и камень;
и ты струилась сквозь меня
необозримыми веками,
прохладой тинистого дна,
лучом полуденного жара...
И золотая тишина
нас до заката провожала.

3

А на закате мы уехали.
И новгородские холмы
стояли вдоль дороги веками
еще не наступившей тьмы.

Куда мы путь держали – ведомо
рассудку было, не душе, –
она еще послужит преданно
на предрассветном рубеже.

Разлука поздняя ли, ранняя
дается свыше на века,
и все же радость невозбранная –
любить – доступна нам пока!

Остаток лет не бросишь под ноги:
твои зеленые глаза
не с образов сошли, а все-таки
творить способны чудеса!

Забудем о постыдной ревности!
Дитя фантазии больной,
возникла ты ундиной в древности,
чтоб ныне стать моей женой.

¹ Кто эта дева – не знаю. Адам Мицкевич (польск.).

ПЕРЕВАЛ

... ищущего не вашего, а вас.
*Апостол Павел. 2 Коринфянам,
12, стих 14*

Всё ближе, ближе перевал.
Крутой подъём высок и труден
в страну, где смертный не бывал,
но час пробьёт – и все мы будем.
И некогда глядеть назад
с недоумением и испугом, –
не для того был Сын распят,
врагом возлюблен, предан другом.
Не для того среди порух,
под небом двух тысячелетий
к себе, на ощупь и на слух,
мы возвращаемся из нетей.
Какой же мы проспали дар,
какую пропасть миновали? –
За нами прошлого угар,
туман стоит на перевале.
Все тонет в пелене густой:
дворцы царей, земные лица...
Но сердце, ставшее звездой,
уже не может заблудиться!

МИМО СМЕРТИ

Путь земной, я верю, не напрасен,
не случаен всякий мой недуг:

Бог меня болезнями украсил,
и огонь в сосуде не потух.

О другой, неведомой отчизне
вижу я загадочные сны.
Смысла нет ни в той, ни в этой жизни,
если мы обеим неверны.

Этой жизни горькая подруга,
не ревнуй меня к любви той,
что однажды вырвалась из круга
и осталась вечно молодой.

Вот еще одно тысячелетье
откатилось к берегу волной,
и Рыбак, забрасывая сети,
нам улов готовит неземной.

Он стоит на той и этой тверди,
утешая сбившихся с пути...
Если Жизнь проходит мимо смерти,
мимо жизни можно ли пройти!

ВОСПОМИНАНИЕ

Возвращусь ли я в тот тихий уголок,
к той избушке у деревни на краю,
где, вдали от станций шумных и дорог,
забывал я неустроенность мою.
Где на воле согревал меня мороз,
и, петляя по заснеженным полям,
уму-разуму учился я у звезд,
не последний и не первый из землян.

ЕДИНСТВЕННАЯ

Желанье счастья в меня вдохнули боги...
Евгений Боратынский

Не схимница и не святая –
сестра, любовница, Жена.
Волос распущенных густая
на плечи падает волна.

Такой тебя во сне я встретил,
а то, что было наяву,
по пустырям разносит ветер,
как небылицу и молву.

Мне снится ладного покроя

твой сарафанчик без затей
и красноречие немое
походки праздничной твоей.

В своей прокуренной берлоге,
богами счастья одержим,
других встречая на пороге,
я обхожусь теплом чужим.

И в каждой ты живешь незримо,
и не даешь покоя мне,
и всякий раз проходишь мимо,
и гасишь свет в чужом окне.

НЕ ЗАБУДЕМ

П. Д.

Ничего в награду мы не просим,
оставляя семьи и дома,
и с собой все лучшее уносим
в неземных селений закрома.

И когда нас там, на переправе
встретит Стикса тихая вода,
о мгновенной жизни и о славе
мы забудем раз и навсегда.

Ничего мы не оставим людям,
кроме песен, что не в лад поем,
но о братстве нашем не забудем
в одиноком равенстве своем!

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Александр Сорокин. Неравновесие покоя. Книга стихов (1984–1993), М., «ВИМИ», 1993.
2. Александр Сорокин. Изборник. Стихи. М., «Издательское содружество А. Богатых и Э. РАкитской», 2002.
3. Александр Сорокин. Обратная перспектива (в трёх книгах). Стихи. «Издательское содружество А. Богатых и Э. РАкитской», 2005.
4. Александр Сорокин. Снег тишины. Четвёртая книга стихов. М., «Серебряные нити», 2009.

СОДЕРЖАНИЕ

Светлана Сырнева

Светлана Сырнева. Девочка из Уржума

Стихотворения

Цикорий

Ночной грузовик

Прописи

Прогулки с дочерью

Деревенские наряды

«По дороге плетётся машина...»

Песнь о сохранившем знамя

«Ночь застанет в пути, и луна...»

Декабрь

«Затеряна в кругу светил...»

«Я прошу тебя, побудь со мной...»

«Даже там, в темноте, через толщу земли...»

«По-над берегом, над половодьем...»

«Кто обманом, злом, кто честным трудом...»

«Поле безлюдное, полдень и зной...»

«В чистом поле – одна белынь...»

Свадебная фотография

«В тихом омуте я живу...»

«Ночью, бывает, проснёшься, поднимешься с нар...»

«День за днём расстилает пурга...»

«Там будет лес, и поле, и река...»

«Утро да стебли сухого бурьяна...»

Поле Куликово

Капитанская дочка

Село Совье

Наследство

Русский секрет

«Прочь на равнину из душных стен...»

«Знойное небо да тишь в ивняке...»

«Двадцать первый век...»

Побег поэта

Зимняя свадьба

Шиповник

Противостояние Марса

Марийский певец

Гибель «Титаника»

Побеждённый

Цветы

Кривая берёзка

Мост самоубийц
Осенняя оборона
«Это сон, это слишком опасная тишь...»
Дождь
Вагон сумасшедших
Общее солнце
Поэт Фоменко
«Лето в разгаре, и странен союз...»
Фельдшер
Свобода
Водоём
Сельский ангел
Библиография

Юрий Беличенко

Об авторе

Стихотворения

«Я помню первый год от сотворенья мира...»
«По выходным, когда его просили...»
«В июне мир припоминал отца...»
«Я родился на берегу войны...»
«Всё реже детство стало сниться...»
«Дядю Федю жена не любила...»
«Какие люди, помнишь ты...»
«Нас ничему не выучило время...»
Кузнец
Соседка
«Дожди крупяного помола...»
Варнавинский лес
Тамань
«... Эта бычья дорога в осоке жила...»
«Кузнец сказал: “Дожди в горах...”»
Садовод
«Линяли дюны на ветру...»
«Время лодки наши движет...»
Кентавр
«Увидел Шлиман, отыскавший Троию...»
Сюжет
Волхвы
«На морозный квадрат полигона...»
«Над ущельем солнышко погасло...»
«Спаси тебя от пагубных желаний...»
Ломоносов
«В стране моего огорода...»
«В карасином озере степном...»
«Может, это работа спасала...»
Терскол
Клинопись

«Накаркали снегу вороны...»
К Овидию
На севастопольском братском кладбище
«В продавленной луже любого следа...»
Пленный меот
«Он начал разговор в прихожей у дверей...»
По Шексне
«Ещё луга густы на наволоке...»
«Слизало лето ржавые болота...»
Можайский поезд
1. «Прошли осенние хворобы...»
2. «Но мрак плечом отодвигая...»
3. «А на платформе злее стужа...»
Никола зимний
«Как на Древнюю Русь печенег...»
«С утра морозно. Над домами...»
Как первая любовь...
1. «Я край один запомнил наяву...»
2. «Невидимый для глаз...»
«Как мало чувства нам осталось!...»
«Вот оно, Господи, позднее время моё!...»
«В соловьиную ночь на Бориса и Глеба...»
Библиография

Виктор Верстаков

Виктор Верстаков. Такая судьба

Стихотворения

«Мокнет брезентовый лагерь...»
Вечер в полевом лагере
В ночном полёте
Пой, труба!
Берёза
«Прицел наверняка...»
На круги своя
На перевале
В горах
Война не понимает нас
«Разведка цветы собирала...»
«Горит звезда над городом Кабулом...»
В королевских конюшнях
Нюрка
Джелалабад
Последний поход
«От боя до боя не долго...»
Мария
«Над бессонною кроватью...»
Девчонки нашего полка
Девятая рота

Долги
Русское море
«Не видно трёхцветных знамён...»
Вернуться и жить
«Отвоевали по два года...»
«Я вылетал из Кандагара...»
«Я позабыл афганскую войну...»
Пора, славяне
«Ослепли и приборы, и глаза...»
«Боевую славу не унизили...»
«Последний батальон уходит из Кабула...»
Песня
«Громыхали дальние разрывы...»
Разговор с автоматом
Возвращение к маршу
«Порабощая тело духу...»
«Была дорога наша долгой...»
Любимой
«Нет правды на войне, но нет ее и в мире...»
Господам офицерам
«Пришёл на могилу отца...»
Песенка капитана
Последняя тельняшка
«Есть держава – придёт и Державин...»
Пророчество
Поправка
«Любовь сохранил, а страну не сберёг...»
Письмо
«В день последний двадцатого века...»
«Слетелись вороны к ворону...»
«Ваши умные беседы...»
В шуйском гарнизоне
«Первыми погибли, как ни странно...»
«Ветер в берёзах шумит...»
Материки
Русская печь
Разведчик
«Вот уйду, а никто не заплачет...»
Русский характер
Последний бой
Минеральные воды Лагидзе
«В подполе, на чердаке...»
Библиография

Сергей Попов

Сергей Попов. Родом с Красного Балтийца

Стихотворения

Новый Иерусалим

Иордан
Лазарь Мурманский
«Монастыри да зоны...»
Север
Аддис-Абеба
Рай
Три птицы
Мариино стояние
Сорок мучеников
Ёлка
Родительская суббота
Молитва Василия Клочкова
Похищение Европы
Музыка
Могилы Гёте:
 1. «Солдатик в фирменной шинели...»
 2. «Царевна. Умница. Россия...»
Перед войной
Капли
Миша
Из госпиталя
Сказка-война
«Да, мы Христа не распинали...»
«Веди, веди меня, отец!..»
Дочке Маше
«Дачный домик, ангелок венчальный...»
«Собаки лают, как в деревне...»
Свежевыстиранный мужчина
Развод
«Рушат коптевские бараки...»
«Только матери, только Богу...»
Первая ученица
Симфония властей
Матрос
«Брось в меня рябины кисть...»
Мама
Отец
Спецназ
Голубка
Королёв
Новая пустынь
Вернулся
Иеремия
Вялотекущая
Юра
Снегири
Дочке Вере
Дом
Иоанниты
Ермак
Староверы
Лев

Памятник
«Там, где город этот бледный...»
Песня
«Как хорошо писать стихи, старея...»
В музее
Барбаросса
Белобрысая татарка
Китай
Восток
Орда
«А электричка шла до Одинцова...»
На переправе
«Всё приподнять: и лужи, и песок...»
«Со своею пенной свитой...»
Художник
Пожарник
Трамвай весной
Святой Дух
Библиография

Александр Сорокин

Александр Сорокин. Коротко о себе

Стихотворения

Она молчит
Шёл снег
Когда не приходит подмога
Бессмертник
Судьба
Давно пора
Наваждение
Непредсказуемый январь
На той войне
Отец
За отца
На Яхроме
Снег тишины
Родня
Оптина пустынь:
1. Старец Амвросий
2. Река в детство
3. Паломники
4. У скита
5. В храме
6. Монастырский сад
Слабые
Осеннее
Мы будем все занесены
Смогу ли...

Всё ищю
По краю
Из больницы
Опять потемнело
Ночь Рождества
Наш путь
Заклад
Мать и отец
Август
Ветер жизни
Прощание
Ускользающий свет
Ночное кладбище
Гора
«Зачем, кому не знаю назло...»
Неведомой дорогой
Родина
Три стихотворения:
1. «Всё, приходящее извне...»
2. «Я невиданный в мире вор...»
3. «То, что не с нами случилось, некстати...»
Заброшенная церковь
Когда душа соединит
Пустая дача
«Мелодия играла...»
Попутное
«Держась на гребне мутного потока...»
Пробуждение
Эпизод
«И любить не могу я, и знать не хочу...»
Городской сад
«Рыжий лист, летящий косо...»
«Нашу быль по частям соберут...»
Учитель
«Голубоватый лунный снег...»
Ты в вечность ушёл
«Деревья, звери, птицы, облака...»
Я вижу
Молюсь за вас
Письмо
Смутное время
Так бывает
Заклинание
Этой тёмною тропой
Не исчезай
Уход
Притча
Странник
Тютчевская осень
Признание
Ты знала
Половодье

Невозвращенец
Русская мечта
Рассветное
Не Бог и не зверь

Художник:

1. «Я на высокий подвиг не помазан...»
2. «Всё строже кисть, всё реже я пасую...»
3. «А ты, душа, молиться не устала?..»

Плат Пенелопы

Себя не зная

Скажи

Подтверждение

День четвёртый

Свитезянка:

1. «Из царства закамористых коряг...»
2. «Сквозь сон редяющих стволов...»
3. «А на закате мы уехали...»

Перевал

Мимо смерти

Воспоминание

Единственная

Не забудем

Библиография